

Несколько слов к читателю

На улице – весна. Пронзительно синее небо и яркое солнце – именно такие дни часто дарили Борису Ганкину вдохновение и заряд поэтической энергии для работы над новыми стихами. И очень больно сознавать, что новых стихов не будет. Прошло уже восемь лет с момента, когда внезапная и неумолимая болезнь прервала полет его пера, оставив только воспоминания и ощущение утраты. Борис творил пока были силы. Остались стихи и рассказы, и заготовки новой книги поэзии, которую мы и предлагаем Вашему вниманию.

Любящий и любимый муж, отец и дедушка семи внуков. Конструктор, изобретатель и неумолимый путешественник. Каждому из своих занятий он отдавал себя без остатка. Он любил жизнь и красоту во всех ее проявлениях, а еще больше он любил делиться этой красотой с окружающими. Поэтому люди до сих пор вспоминают его экскурсии по музеям, городам и паркам Мичигана, поездки на концерты и спектакли, и просто беседы за дружеским столом...

О жизни и творчестве

Борис Ганкин родился в 1936 году в гор. Гомеле, Белоруссия.

Отец его Арон был родом из местечка Щедрин, славного не только своими религиозными традициями, но и еврейскими поэтами, художниками, мастеровыми. Художником и поэтом был и младший брат отца – Евгений Ганкин. Позже, в годы войны, большая часть семьи Ганкиных погибнет в Щедрине, зверски истребленная фашистами. А Евгений

запечатлеет образ матери, мудрой еврейской женщины, перед ее гибелью...

Сам Борис, пятилетним мальчиком, навсегда запомнит и ужасы бомбежек, и уход отца на фронт, и голод и холод эвакуации, где его мама работала на военном заводе и часто, кроме кусочка жмыха, выданного вместо хлеба, не было в их комнатке ничего съестного. И еще запомнит навсегда ожидание писем с фронта, слова любви в этих письмах, похоронки, которые приходили к соседям. И, конечно, День Победы, возвращение отца после госпиталя. Тема войны навсегда станет одной из ведущих тем творчества поэта.

Так же естественно вошла в его творчество и тема гетто, потому что семья вернулась в разрушенный Минск и жил будущий поэт на территории бывшего гетто, рядом с древним еврейским кладбищем, где дожди размывали длинные рвы с останками убитых узников гетто, а под памятниками находили мальчишки укрытия, где пытались спрятаться несчастные евреи во время погромов.

Борис Ганкин окончил технологический институт, стал инженером-конструктором, автором пятидесяти изобретений, и одновременно писал стихи, которые с 1967 года стали появляться в журналах и газетах Белоруссии, а также в московской печати. Одновременно поэт занялся переводами с белорусского, и в его переводах публиковались стихи Максима Танка, Петруся Бровки, Анатолия Гречанникова, Владимира Павлова, Анатолия

Вертинского, Федора Жички, Федора Черни, Нила Гилевича и многих других поэтов.

Вышли в свет книги поэта: “Восхождение”/издательство Беларусь, 1972г/, “Тропу торить”/издательство Мастацкая лitarатура,1974/, “Чудеса” / издательство Мастацкая лitarатура,1976/, “Многоцветие “ / издательство Мастацкая лitarатура, 1977/, “ Неразделимость” / издательство Мастацкая лitarатура, 1981 “, “Верность свету “ / издательство Мастацкая лitarатура,1994/ и книга избранной лирики “ Дождинки в ладони “ / Издательский дом, 1995 /. Темы книг разнообразны – любовь, размышления о судьбах людей, труд и творчество, история и современность. Многие стихи поэта связаны с его горными путешествиями на Памире и Тянь-Шане, Кавказе и Матче. Стихи и переводы печатаются в центральной и республиканской печати, в альманахах, журналах и газетах.

В 1996 году поэт эмигрирует в США. Живет в гор. Анн Арбор, Мичиган, знаменитом своим университетом, в том числе и факультетом славистики, где работал Бродский, издательством “Ардис”, постоянным интересом к русской литературе. Новые мотивы появляются в его творчестве. Их диктует сама жизнь в новой стране. Стихи поэта публикуются в альманахе “Поэзия”/Сан Хозе, Калифорния, ежегодниках “Побережье”, Филадельфия, “Зеркало”, Лос Анжелес, журнале ”Зеркало”, Миннеаполис, газетах “Форвертс” Нью Йорк, ”Взгляд”Сан Франциско, “Еврейский мир”, “Карусель” Торонто и т.д Выходят подборки стихов поэта на его родине в журналах “Немига литературная”, Минск и “Мишпоха”, Витебск, в Израиле.

В 2000 году в Анн Арборе поэт издает свою первую на американской земле книгу “Негасимый свет“ о судьбах людей, входящих в новую жизнь, о прошлом, глубоко и нерасторжимо связанном с душами людей, о негасимом свете любви и человеческих надежд.

В 2002 году в Минске вышла книга “Сказочная роль”, в 2005 в Таганроге десятая книга поэта “Одуванчиковой порой”.

Лауреат Международных конкурсов поэзии, проводимых Международным Пушкинским Обществом, победитель международного конкурса к 300-летию Петербурга.

Даже получив неожиданный и страшный диагноз от врачей летом 2007, Борис продолжал работать над книгой стихов и воспоминаний, закончить которые не позволила его болезнь. 13 февраля 2008 года Борис Ганкин скончался. Ушел он в самом разгаре своего поэтического таланта, оставив нам свои стихи и воспоминания.



БОРИС ТАНКОВ

И все же с последней горы

Анн Арбор. 2016

* * *

*И все же с последней горы,
и все же с последней вершины,
с последней осенней поры
под небом, пронзительно синим,
мне кажется светлым мой путь,
все встречи и все расставанья,
и воздух, наполнивший грудь
восторгами или страданьем.*

*Продлить бы опять и опять
дни ясные и дождевые,
у тихой реки постоять,
пройти через склоны крутые.
От теплой шершавой коры
набраться тепла понемногу –
и глянуть с последней горы
с любовью назад, на дорогу...*

Лампадқа памяти моей

* * *

По лунной дорожке пройти до Луны.
Внезапно увидеть счастливые сны.
По дням своей жизни опять полетать.
Забывшие вещи из шкафа достать,
примерить – от детских до нынешних дней.
Счастливо очнуться у звездных огней.

И рядышком – счастье.
И путь к нему прост:
по лунной дорожке добраться до звезд...

* * *

Сколько бы дожди ни лили,
все в себя песок всосет.
Сколько бы ветра ни били,
смерч меня не обобьет:
прошлое впиталось в душу,
и не меркнет в ней оно.

.
Жизни мне не надо лучшей:
было все, что быть должно...
Сыновья мои—в работе,
Внуки — музыка и свет,
сам я стал копилки вроде
поражений и побед.
В час положенный сменялись
день на вечер, ночь на день.
В час положенный смеялось
солнце, побеждая тень.
А когда я отправлялся
без сомнений в путь опять,
друг—попутчик появлялся,
чтоб помочь и поддержать.
Я не предал.
Не был предан..
Я любил.
И был любим.
Верность — жизненное кредо—
не химера и не дым.
Боль ожогов закалила,
вновь душа чего-то ждет...

Сколько бы дожди ни лили,
все в себя песок всосет...

ОТТЕПЕЛЬ

Наконец-то наступило
ослабление мороза!

Капли на иголках хвои –
неожиданные слезы:
то ли радость подкатила,
то ли беды отступили,
то ли солнце подступило
и сугробы растопило...

В каждой капельке-- по солнцу.
Лес сверкает и сияет.
Полдень искренне смеется
и того не замечает,
что опять февральский ветер
изменяет направленье,
и замерзнут капли эти
очень скоро, без сомненья.

Я и сам – седой и мудрый,
наперед о стуже зная,
в это солнечное утро
тоже таю и сияю:
миллиарды солнц – навстречу,
вижу их сейчас везде я.

Расправляю грудь и плечи,
на мгновенье молодею...

* * *

За проезд до страны назначенья
надо дорого очень платить:
размышлений, тревог и сомнений,
колебаний, бессонниц, волнений
еле хватит, чтоб путь окупить.

А потом надо брать себя в руки,
все отбросить, что тянет назад,
и увидеть, как – юный, упругий,
весь в цвету – по весеннему кругу
поднимается заново сад...

* * *

Какого дурака сваял:
не расспросил,
не поделился,
о родословной не узнал,
общением не наслаждался.

Теперь уж некого спросить...

А дети – на своих дорогах.
Им тоже некогда.
Им быть
невеждами, как мне...
Не строго
сужу за это.
Просто жаль,
что очень скоро час настанет,
когда и к ним придет печаль –
и больно им, как мне, вдруг станет...

* * *

Выдувает, словно сквозняками,
то, что в жизни приключалось с нами.
Впрочем, это не сквозняк – склероз.

Жаль.
За горизонтом, за годами –
голос папы и улыбка мамы,
первое свиданье,
солнце в раме,
и, конечно, первенца вопрос...

Многое пока что не забыто.
И душа моя еще открыта:
внуку я о многом говорю
и надеюсь—он-то не забудет,
сохранит, умножит и добудет
новую счастливую зарю.

Ведь по крохам что-то сберегли мы.

Дни промчались, словно скорый, мимо.
Вот и вечер жизненного дня.

Может, буду с внуками незримо,
потому что мне необходимо,
чтобы кто-то помнил про меня...

* * *

Отодвинувшись от детства,
вспоминаю я все чаще
небогатое наследство—
комнатку в бараке нашу,
голод, холод, игры с другом...

Но над этим – мамы нежность,
мудрость папы,
дождь и вьюги,
книги – мудрости безбрежность.

Отодвинувшись далеко,
стал я в мыслях возвращаться
в тот неяркий свет из окон,
в ту способность наслаждаться
малым:
хлебом иль жмыхами,
вечерами у буржуйки,
первой книгой, и снегами,
даже песней вьюги жуткой...

Что меня там привлекает?
Сам не знаю...

Вновь не спится.
Прошное перебираю:
дни... события... и лица...

МОЛИТВЫ

Экономя даже на коптилке,
в темноте молился дед зимой,
умоляя Бога ради Бога
всех ушедших воротить домой.

Он просил помочь, не сомневаясь,
что его молитвы слышит Бог...

А солдаты гибли, оставаясь
на полях, в окопах, вдоль дорог.

Все же Бог услышал, без сомнения:
и зятя, и дедовы сыны
воротились – кто после раненья,
кто здоровыми после войны.

И потом, уже не экономя,
все молился и молился дед
за покой, за мир и за здоровье,
за спасение от новых бед.
На висках его дрожали жилки...

Я, став дедом, помню до сих пор:
экономя даже на коптилке,
с Богом дед ведет свой разговор...

* * *

Лампадка памяти моей
лицо вдруг осветила,
за много лет и много дней
забытое в пути.
И чудом вдруг она меня
во дворик возвратила,
где мяч тряпичный,
беднота и голь, как ни крути.

Лампадка памяти моей...

Родные -- в свете этом.
Иконостас — мои друзья послевоенных лет.

Лампадка памяти моей.

Горит зимой и летом,
лик освещен ее огнем, а человека нет...

Ну что о той поре скучать —
там голодно и сиро.
Ну что о тех друзьях грустить —
их рядом нынче нет...

Но кто-то жив еще в душе,
в устроенной квартире,
раз освещает лики вновь
моей лампадки свет...

* * *

Вроде бы совсем не отличимы
друг от друга гуси и пингвины.
Но гусята или пингвинята
маму непременно отличат,
и на зов ее не мчат куда-то:
только к мамам собственным спешат.
Как?
Не знаю.

Знаю, что и сам
среди всех земных прекрасных мам
лишь одну – свою — всегда люблю,
хоть и нет ее давно на свете.
Но и нынче свет ее ловлю:
издали мне мама нынче светит...

* * *

Играя с внуком, думаю о том,
что и со мной, конечно же, играли
задолго до войны—в тридцать седьмом,
восьмом, девятом и сороковом,
не беспокоясь вовсе, что потом
мне эти игры вспомнятся едва ли.

И мне не важно, вспомнит ли мой внук
о том, как хохотал, со мной играя –
а важно, что я стал мальчишкой вдруг,
весь неподъемный славной жизни круг:
сквозь сушь и топи, горы, лес и луг –
опять с веселой радостью вбирая.

Мне важно, как он смотрит на меня,
как впитывает небыли и были...
Мы вместе с ним сейчас—в начале дня,
в потоках щедрых майского огня,
и я его люблю, как и меня
давным-давно навеки полюбили.

* * *

Никому ничего не должен.

Впрочем, это – уж как считать.
Не набил хулигану рожу –
безопасней было смолчать.
Был скупым на доброе слово—
видно, щедрости не нашлось..
Дом не выстроил детям новый –

им самим все строить пришлось.

Мир как был, так остался сложным.
Вдоволь жизнью обласкан и бит.

Никому ничего не должен. ...

Отчего же душа болит?

* * *

Привыкнув тихо подчиняться
течению времени—реки,
не думаем сопротивляться
и что-то делать вопреки.

Но, между тем, спасенье наше—
не в подчинении годам,
а в том, чтоб делать то бесстрашно,
что годы запрещают нам.

Тогда-то, может, интересны
мы станем внукам.
И они
прислушаются к нашим песням
и вдумаются в наши дни...

КОММУНАЛКА

На давнем Юбилейном рынке,
которого теперь уж нет,
купить говядинки, свининки
любил когда-то наш сосед.
Порой в квартиру, где мы жили,
мне не хотелось заходить:
из-под дверей соседа плыли
такие запахи, что было
их невозможно пережить...
Несправедливость коммуналок
по окончании войны:
быт у одних был беден, жалок,
другие – сыты и пьяны...
Я не завидовал соседу:
он был удачлив, но – не вор,
а запах сытного обеда
не закрывался на запор.
Я счастлив был.
Отец вернулся
с войны.
Был вкусный хлеб к чайку.
Но запах мяса так тянулся
по стенам, полу, потолку!...
Сгущались тени за окошком.
Светились редкие огни.
И верилось:
еще немножко –
придут и к нам другие дни...

КОНЕЦ СОРОКОВЫХ

Нас вбивали безжалостно в грязь и сугробы,
словно гвозди — в бревно,
словно в шпалу—костыль...
Всех учили:
следи за товарищем в оба—
вдруг в нем скрытно живет буржуазная гниль.

Мы же в грязь не хотели, в снегах не увязли,
и гвоздями не стали – мы лезли на свет.
Наиболее смелых, кто рвался из грязи,
уж давно в этом мире безжалостном нет.

Те, кто бил и топтал, без сомненья, тоскуют
о жестокой эпохе тирана опять.
Нас вбивали.
Мы вырвались.
Долю людскую
и свободу свою нам бы не потерять...

* * *

Когда тиран последнее злодейство
задумал, то не вытерпел Творец.

Но похорон тирана лицедейство
не означало: злу пришел конец!
Зло просто притаилось, как всегда,
на дне сердец служителей тирана...

История пошла, как фарс.
И странно,
что даже через многие года,
когда и слуг тирана нет в помине,
рабы о нем мечтают до сих пор
и, презирая волю и простор,
готовят злодеяния поныне...

* * *

Повеселился вдоволь Каин,
убив всех Авелей на свете,
для них свои расставив сети
от стен Кремля и до окраин.
В сетях Гулага трепыхались
они – как мухи в паутинах.
И Каин, в ус чуть усмехаясь,
сиял, как солнце, на картинах.
О нем писали, песни пели,
ему осанну возносили.
О бедных Авелях забыли –
даны другие были цели.
А Каин, трубку раскуривши,
задачи ставил всем толково:

где новые поставить вышки
вокруг бараков, тоже новых,
кого—убрать, кого—оставить,
кого—хулить, кого – восславить,
кого – в застенках расстрелять,
кого – повыгодней продать.
Он, Каин, добрый.
Он—сердечный.
Он в зле ничуть не виноват.
И миллионы каинят
служили Каину, конечно.

И до сих пор неясно мне:
как выжили мы в той стране,
в том каиновом государстве,
в мрачнейшем из ужасных царствий,
где от Кремля и до окраин
всем правил, усмехаясь, Каин...

* * *

Вернув былые времена,
былое не вернуть.

Такая странная страна.
Такой ей выпал путь.

Найдется новый государь,
былого не мудрей.
И будет новый грозный царь
грознее всех царей.
Опять отыщутся шуты
для нового вождя,
и птицы сядут на кресты,
восторженно галдя.
И тщетным будет Божий суд:
шатнется вновь престол –
там белый с красным упадут
на тот же самый дол...

* * *

Мы дележом постов, хлебов, сокровищ,
которыми заполнены года,
себя не успокоим никогда...

Спohватится вдруг кто-то иногда
и закричит себе:
--Чего ж ты стоишь!

А позади—ни счастья, ни следа...

СКУПЕЦ

Не есть, не пить.
Копить.
Зарыть.
И даже от детей таить
свой клад,
чтоб детям не достался...
Пройдут века.
Найдется клад.
Насмешливо проговорят:

-- Ну и осел! Для нас старался...

* * *

Вот и пришли почтенные года,
которые никто не почитает,
поскольку старики умны и знают,
что лучше бы не знать их никогда,
а молодым и вовсе дела нет
до стариков и их почтенных лет...

*На моей параллели сегодня -
весна*

* * *

Оказалось, тут есть и березы,
и ромашки,
и даже жасмин.
И напрасно разлучные слезы
проливал я, прощаясь, по ним.

Оказалось, есть люди повсюду,
есть музеи и есть города.
И сияет повсюду, как чудо,
столь любимая сердцем звезда...

* * *

Проходным двором апреля
в май из марта пробегу:
в мае звонкие свирели
распевают на лугу,
а сады цветы одели —
и застыли, как в снегу...

* * *

Перекрашу все, что было, в голубое —
мягкое, пушистое, родное,
и скажу, как старики, тогда:
« Что -- сейчас?!
Вот раньше—это да! ... »

Сам себя, конечно, обману:
было в прошлом всех цветов сплетенье,
просто юность холода и тени
обращала в светлую весну.

* * *

Расцветают не цветы—надежды.
Этим нам и дорога весна.
Там, где лишь сугробы были прежде,
отряхнулась, ожила сосна.
Появились, словно ниоткуда,
робины—и песенки поют.
Обрамляя дня живое чудо,
крокусы на цыпочки встают.
Потихоньку я иду по тропке,
что у леса вьется на краю.

И строка, как жаворонок, робко
запевает песенку свою...

УТРОМ НА ФРИВЕЕ

Куда все мчатся спозаранку,
едва лишь небеса зарделись?

И я кручу опять баранку,
как будто нечего мне делать.
Шумит фривей десятирядный:
я обогнал, меня обгонят...

Встает заря.
Восток нарядный
из-за озер к нам солнце гонит.
Оно быстрее нас, конечно,
хоть жми педали до отказа.

Куда мы мчимся бесконечно,
не поглядев назад ни разу?

* * *

Споет мне птица, что весна
еще возможна в мае.

Мгновенно отойдя от сна,
опять воспринимаю
начало мая, как солдат
привычную побудку.

И маю от души я рад:
за дело не на шутку
берется он!
Взошли цветы,
вовсю сияет солнце,
и птичья песня с высоты
подарком сердцу льется.

Моя седая голова,
подставленная свету,
все сбереженные слова
проветривает к лету,
дает им новый смысл опять
и новое звучанье.

Как весело строке сбежать
от зимнего молчанья
в оживший лес,
цветущий луг,
ручей, разбег набравший –
и песней обернуться вдруг,
как соловей, бесстрашной!

* * *

Вот и настало Первое Мая...

Прошлые маи вдруг вспоминаю:
солнце в окошке, толпы, оркестры,
пиво, таранька, шутки и песни.

Первого Мая многие годы
мы отмечали первым походом
в лес – в Радошковичах или в Зеленом,
в Крым, где горят горицветами склоны.

Было все молодо. Все – интересно.
Первое Мая. Первая песня.
Щедрость весны, из лесов подступившей,
в сети из солнца нас изловившей...

* * *

Есть у мая одна привилегия:
так стоит он в шеренге из месяцев,
что к приходу его перебесятся
все морозы -- начнется элегия:
птицы песни споют,
почки вскроются,
и цветы, наконец-то, распустятся,
и в полет снова сердце запустится,
и душе небеса вновь откроются...

* * *

Вырвавшись из ледяных застенков,
приглашает всех нас Май на пир.
Бесконечность красок и оттенков
украшает к Дню Победы мир.

Мысленно стою у минской Ямы,
где когда-то в этот день стоял.
Вспоминаю прошлое упрямо –
впрочем, я его не забывал.

В самых разных белорусских гетто –
бабушка, и тети, и дядья...
И уже неисправимо это,
их убийцам – только Бог судья.

Яма в Минске—лишь одна из многих...

Нас все меньше, приходящих к ней:
разбросали трудные дороги
нас сегодня по планете всей.

Но невольно нас объединяет
этот день.
И в разных городах,
как и я, о Яме вспоминают
люди со слезами на глазах.

Это—счастье, что цветет на диво
дерево, пример давая нам:
снег сойдет,
наступит день счастливый,
где не будет места холодам.

Символы дороги нашей долгой—
Яма... День Победы... майский цвет—
пронесли мы жизненной дорогой,
сохраняя до скончания лет.

* * *

Жизнь пробудится.
Лист пробьется.
Первоцвет раскроется вновь.
Нас обнимет весеннее солнце,
разгоняя старую кровь.
Будет в озере солнечный зайчик
на апрельском ветру дрожать.
Наш внучок – синеглазый мальчик –
будет радостно к нам бежать.
Я его подхвачу руками
и подброшу к небу легко:
синь такая над ним, над нами,
словно не было облаков!
Внук хохочет – и мы хохочем.
Наша молодость – рядом с ним.

А весна, как фея: что хочет,
то и сделает махом одним.

ЗАРНИЦЫ

За вспышкой зарницы последовал ливень –
по-майски веселый,
по-майски счастливый,
и новая вспышка вдали полыхнула,
и в ливне погасла,
в пруду утонула...

Я шел под дождем, весь до нитки промокший,
и думал о том, как в далеком году
в такой же вот вечер, зарничный, хороший,
я в Минске стихи бормотал на ходу,
влюбленный в девчонку, шагавшую рядом...

Года понаставили много границ,
но женщина с прежним сияющим взглядом
со мной, слава Богу, как стих и награда,
шагает под вспышками дальних зарниц...

* * *

И небо, вроде, ясным было,
и солнце весело светило.
Но вдруг из ясности — раскат,
потом еще один,
и ветер
укутал в облачные сети
и молнией поджег закат.

Ударил в крыши ливень звонкий,
промыл тюльпаны чуть в сторонке,
сирень,
деревья в парке,
нас —
мы, за руки схватившись, дружно,
как дети, шлепали по лужам.
Мир был прекрасным в этот час!

И снова небо прояснилось...

На западе еще светилась
полоска около земли,
на ветках, высоко над нами,
искрились капельки огнями.

Счастливые, мы к дому шли...

* * *

В колодце небо отражается,
и солнце в полдень в нем купается.
Но длится это пять минут.

Потом уйдет в сторонку солнце,
и только небо остается
на дне глубоко колодца,
где сказки вечные живут.

Все, что в колодце намешается,
с глотком воды в меня вливается:
я пью – и силы возвращаются,
и струны юные поют...

НЕБО

Прячется солнце за горизонт.
Новое солнце выспеет быстро.

Синее небо – солнечный зонт –
нас укрывает воздухом чистым.

Спрячется солнце.
Съежится мир.
Шарик земной нас уютно качает.

Звездное небо.

Озоновых дыр
глаз мой беспечный не замечает...

* * *

Дождит немного.
Пять минут покаплет—
нанижет на иголки сосен май
веселый свет:
на каждую—по капле.
Летит к болоту на работу цапля.
И, даже если жизнь тебя царапнет,
ты все же май, как дар, воспринимай...

МАЙСКИЙ ПОХОД

Ночь—зола от сгоревшего солнца,
угольками созвездия в ней.

В полночь песней веселой зальется
над палаткой моей соловей.
И черемухи запах настоен
на безоблачной песне сейчас.

Этих майских призов достоин
в Радашковичах каждый из нас.

Ранним утром, прохладный и свежий,
ветерок прошуршит по ветвям.
Наша тропка поля перережет,
где под солнцем всходить семенам.
Рюкзаки отмассируют спины...

Мы уходим в иные леса,
где приветствует нас рык лосиный
и безоблачные небеса.

СВЕТЛЯЧКИ

Вычерчивая огненные линии
в июльских полутемных вечерах,
ломают светлячки зелено-синие
мой сон и вызывают полустрах.
Не знаю сам, откуда он рождается.
Но, думаю, от той поры, когда
трассирующей пулей возле станции
неслась к вагону нашему беда.
Я не люблюсь светлячками быстрыми
с тех самых пор, когда мне было пять...

Но все же пусть им будет вольно искрами
над травами бесшумно пролетать.

* * *

На моей параллели сегодня—весна,
и стихи, и душевные песни.
На моей широте, потянувшись со сна,
в мире с миром мне жить интересно.

Выхожу под весеннее солнце—туда,
где под небом листва колыхнется,
где река, сбросив в море кольчугу из льда,
наконец-то свободно несется.

Прямо в сердце сошлись долгота с широтой,
и на месте их пересечения
май твердит мне, что я и сейчас молодой,
непоседливый, пылкий, весенний...

И, отбросив подальше годов скептицизм,
я весне отдаюсь безоглядно.
На моей параллели—весенняя жизнь,
где по-майски светло и нарядно.

*И все-же осень свяжет не
печаль...*

* * *

И все же осень свяжет не печаль
на спицах размышлений и надежды,
а -- за дождями – солнечную даль,
невидимую трусу и невежде.
В узорах чуть проявится весна,
Где -- новые труды и поколения.
Все, что сегодня нас лишает сна,
вновь станет недостойным сожаленья.
Багрянец, задрожавший на ветрах,
вновь в зелень непременно обратится,
и радость всходит, словно на дрожжах,
предзимней песней и дождя, и птицы...

* * *

Отплясала осень ураганно,
разметала листья во дворе –
и осталась в платье из тумана
старой феей с нами в ноябре.

Только с ней смирились,
где-то север
подготовил первый свой набег:
не сегодня – завтра бросит щедро
чистый и прозрачно-белый снег...

И, попав как рыбы в невод белый,
будем молча путы рвать свои,
ожидая, что в апреле смело
жизнь споет о радостях любви.

НАЧАЛО ОКТЯБРЯ

По берегам извилистой речушки
рассыпаны на травах, как веснушки,
принесенные ветром из лесков
то клена лист резной,
то лист березы,
листок осины, хрупок, мал и розов,
листов дубовых вычурная бронза
и тени от плывущих облаков...

Идем тропинкой узкой над водою
и видим:
два оленя к водопою
неспешно по откосу добрели.
Чтоб не спугнуть, застыли осторожно.
Один, постарше, чутко- насторожен,
смотрел на нас:
продумывал, возможно,
чем мы опасны,
что мы принесли? ...
Второй, помладше, смел был и беспечен:
его пленял, наверно, теплый вечер,
когда зима еще не подошла.

Стояли мы.
Ложились нам на плечи
звон речки,
радость этой доброй встречи,
лист, чей полет причудливо прочерчен,
и речка из прозрачного стекла...

* * *

Нальются яблоки.
Поспеет
малина-ягода.
Потом
лист покраснеет, пожелтеет
и с веток смоемся дождем.
А там уж время подступает
совсем иное.
Сыплет снег.
Все леденеет.
«Годы тают» --
печально скажет человек.
Он вновь закрутится в заботах...
Глядишь, весна недалеко!
Уходит солнце неохотно
за кучевые облака.
Снег напоследок заметался,
улегся около домов...
Путь, что достался,
что остался—
загадкой посреди снегов...

* * *

Покружись, ветерок, под аркой,
чисто вымети старый двор.
Клен не трогай пока.
Подарком
пусть останется людям он.
Пусть горит до поры сугробов,
до поры снегопадов злых...
Вот тогда листья сдует злобный
и безжалостный ветер — псих...

И назло всем ветрам я стану
вспоминать, как красавец-клен
полыхал на заре в тумане,
и спасал от унынья он.
И дождусь я опять, возможно,
новых листьев,
осенних огней
во дворе, где живетя сложно
под гудение зимних дней...

* * *

Улетает клин журавлиный,
тонкой нитью тает вдали.

Виснет ягодой-журавиной,
клюквой солнышко у земли.

Журавину...ягоду клюкву...
нынче крэнберри здесь зовут.
«Крэйн»—журавль,

«бэрри»—ягода...

В буквах—
перекличка народов тут.

Потому что едины на свете
журавлиные клинья, закат,
и болотные ягоды эти,
что на тонких нитках висят.

И на всех языках едины
песни осени,
первый лед,
клюква,
крэнберри,
журавина,
журавлиного клина полет...

* * *

Ноябрь дает зиме добро:
с утра дрожат кусты,
ночь припаяла серебро
на медные листы.
Еще отгадет к полдню луг.
Но к вечеру опять
холодный ветерок, упруг,
начнет себе паять...
Последней стаи тихий крик.
На озере – ледок...
И бродит, как с клюкой старик,
по рощам холодок...

* * *

На осень, что шутя заворожила нас,
в погожие часы глядеть — не наглядеться.
Веселая латунь листвы в погожий час
чеканкой кружевной очаровала сердце.
Фантазия дождей, туманов, холодка
и солнечных лучей леса преобразует,
а синева небес чиста и глубока —
в их глубине печаль непостижимо тает.
Успокоенье вдруг приходит.
И покой
на несколько часов овладевает нами,
когда латунь листвы со звоном над рекой
играет дотемна осенними лучами...

* * *

В жизни осенней
одно только грустно и плохо:
даже в тот миг,
когда солнце прорвет облака,
как ни крути,
от счастливого юного вздоха,
как и от мая,
осталась душа далека:
в дальней дороге, видать,
было сердцу несладко—
слишком накоплено много
тяжелых осадков...

НОЯБРЬ

Черношейные гуси—на озере,
а по берегу—первый снежок.

Осень выбросила главным козырем
на прощанье цветастый платок
из окрашенных в красное листьев
да—поменьше—из желтой листвы.
А сквозь белое ярко и чисто
пробивается зелень травы.

Межсезонье.
Предзимье, скорее.

Что ж вы, гуси, не мчите на юг,
где и солнце вас сразу согреет,
и не будет метелей да вьюг?
Но молчат черношейные птицы,
плотно сбившись на стылой воде.

Первый снег на траве серебрится.
Красно-желтые листья везде...

* * *

Золото высыпал клен на кладбищенский вечер—
плиты засыпаны,
даже имен не прочесть...
Ветер ведет над могилами тихие речи:
что-то про память,
а что-то — про веру и честь.
Годы прибавили много потерь невозвратных.
Только с упорством безумца я верую вновь:
помнят ушедшие жизни прекрасные даты,
золото листьев и ягод рябиновых кровь.
Верю, что слышат они наше доброе слово,
знают, что любят и помнят о них на земле...
Клен осыпается.
Золото сыплется снова.
Ветер о чем-то поет в золотой полумгле...

* * *

Есть цветок—“ Декабрист “ называется
потому, что цветет в декабре,
когда вьюга кричит, надрывается
за окном до утра во дворе.

Где берет он и силы, и мужество,
чтобы розово - ярко цвести
у окна, где ажурное кружево
начинают морозы плести?

Новый год отзвонит нам бокалами,
елки быстро из дома уйдут.
Брызнет холод закатами алыми.

“Декабристы ” упрямо цветут...

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Начало года.
Перелив огней.
Прилив надежд.
Часы у телефона.
И голоса желанные друзей.
А с ними – блики незабытых дней.
Зов неумолчный юности моей.
И ночь, в рассвет летящая бессонно...

ЯНВАРСКАЯ НОЧЬ

Все лиственные сдались.
Их зима
раздела донага и застудила.
А вот у хвойных есть такая сила,
что перед ними и зима сама
с позором, исколовшись, отступила
и, более того, припорошила
их снегом для веселой красоты.
А за моим окошком ель застыла,
и ежатся колючие кусты.

Веселая луна глядит в окно,
и в комнате опять полным-полно
воспоминаний,
странных силуэтов,
давным давно не нужных мне предметов,
среди которых, весел и угрюм,
блуждает мой неистоимый ум.

И вспоминаю я:
светился клен,
береза на поляне зеленела,
весна ручьями радостно звенела,
а ива речке била свой поклон.
И ель была пахуче-смоляной,
и что-то в мае делалось со мной,
о чем и нынче вспомню—оживу.

Неужто было это наяву?...
Тогда я думал:
вечным будет май.
Но вот — зима.
И листья облетели.

Но, слава Богу, не сдаются ели,
какой метелью их не обивай!

*Все чаще стали сниться
горы...*

* * *

Я кремнем о кремень ударю.
И тогда
от малой искры возгорится пламя.
И закипит в кастрюлечке вода,
и будет чаепитье править нами.
А вместе с чаем—долгий разговор.
И горный ручеек нам вторить будет.
И будем мы, как молодые люди,
любить друг друга посредине гор...
На берегу, где синяя палатка—
заплаткою на осыпи крутой,
мне станет вдруг безоблачно и сладко,
моя душа вдруг станет молодой.
Нас горы оторвали от земли.
Я слышу, ты подпела водам звонким.
И вспомню:
ты была совсем девчонкой,
когда впервые в горы мы пошли.

* * *

Все чаще стали сниться горы.
И, просыпаясь, я пытаюсь
не потерять их слишком скоро:
воображением питаюсь,
я вспоминаю очертанья,
нагроможденья льда и скалы —
неповторимые созданья
Творца, чья щедрость создавала
всю эту красоту.
Все чаще

я понимаю, что, усталый,
я был счастливецом настоящим,
когда бродил по льдам и скалам...

ПО ХАБОЗЕРУ

Низкое небо Севера
почти касается озера.
Морошка желтыми каплями
разбросана по берегам.
Играя цветами клевера,
ветер воды молозиво
качает, и хвоя лапами
морзянит о чем-то нам.

А мы, залатав днища,
сносим к воде байдарки,
бросаем во рты морошку,
за весла беремся опять,
и путь по волне ищем
туда, где лежат подарком
на сопках звездные крошки,
которые нам не собрать.

На волнах байдарки качнутся,
гнутся весла измученно,
до берега обетованного
еще нам пол-дня идти...

Встречные волны становятся
пенистей, круче и круче...
Идем к невидимой гавани –
и радуемся пути...

* * *

В какую-то счастливую минуту
донес холодный ветер Аксаута
твой голос мне:

«Храни тебя Господь!...»

И стало мне легко.

Я стал бесстрашным.

Доступны стали мне все скалы—башни:
душа сильна, несокрушима плоть.

И к небу я вознес свое моление:

«Храни Господь прекрасное творенье—
храни мою любимую от всех
невзгод, потерь, косых недобрых взглядов.

Пусть только счастье с нею будет рядом.

Любовь такая — благо и награда,
она – мое спасенье, а не грех!»

Представилось: вот я руки коснулся,
и в этот час, когда рассвет проснулся,
дыханья наши, наконец, сплелись...

До выхода наверх—одна минута.

Я начинал по тропам Аксаута
с любимой в сердце восхождение ввысь.

В ГОРАХ ЗАПАДНОЙ КАНАДЫ

Я ликую, как мальчик, который
получил шоколадку в презент:
вдруг открылись на Западе горы
и до неба взметнулись в момент.
Очарованный снежной грядой,
ледниками – подобьем седин,
я душою своей молодою
поднимаюсь до острых вершин.
Вот за окнами – озеро в чаше.
Вот по склону несется река.
Вот машина всесильная наша
поднимается до ледника.
Это – горный туризм по-канадски:
остановки в красивых местах,
и отели встречают по-братски,
от озер голубых метрах в стах...
Я ликую.
Лечу.
Вспоминаю.
Рюкзаки...
ледорубы...
костер...
вот я вновь, задыхаясь, шагаю
к ледникам от кавказских озер...
вот промокшие наши палатки
под грозой на Тянь-Шане опять...
вот памирские камни мне пятки
стали в полдень огнем прижигать...
Скачет память моя, словно мячик,
серпантинами тропок и лет.

Я ликую сегодня, как мальчик:
у души моей возраста нет!

НОЧЬ ПОД ПЕРЕВАЛОМ ХАЛЕГА

Озеро под скалами Халеги
отражало полную луну.
А фосфоресцирование снега
наполняло тайной тишину.
Возносились голубые скалы
к звездам.

И Каракая—гора
небо всей вершиной подпирала,
чтоб оно светило до утра.
Так и были вместе до рассвета
озеро, снега, луна, гора
и фосфоресцирование это,
и неяркий огонек костра.
Не спалось.

Под скалами Халеги
до утра я думал о тебе –
и такого доброго ночлега
не было давно в моей судьбе...

ВЕЧЕР В СТЕПИ

Голубые ковыли
в свете позднего заката
по степи меня куда-то
незаметно повели.
Там спокойная река
изгибалась, как подкова,
отражая шар багровый
и пушинки-облака.
Там легко дышалось мне,
вспоминалось и мечталось,
тени прошлого качались
предо мною в тишине.
Мне бы с милой в полумгле
по степи вдвоем скитаться,
в тихой речке искупаться,
спать до зорьки в ковыле.
Густо звезды расцвели,
как положено ночами,
и качались под ногами
голубые ковыли...

АРИТМИЯ

Аритмия у меня, аритмия...
Покачнулся шар земной под ногою.

В гору тропка – круче нет, мама миа!
А в конце ее – ледник предо мною.
Тропка на гору ползет – слепок змия.
Я иду себе по ней еле-еле.
И в груди моей весь день – аритмия.
Как же держится душа в сильном теле?...

Что же, сердце, ты меня истомило?
Душу тихо попрошу:
« Воспари!...» -- я.

Наверху, куда весь день восходили,
у вечернего огня – аритмия...

ПОВЕЗЛО

Повезло, что не сломались весла
в час, когда волна по лодке била.
Повезло, что этот парень рослый,
кажется, и впрямь в тебя влюблен:
если весел он тогда не бросил,
хоть вокруг штормило и бурлило,
то весной и летом, в зиму, в осень
будет верным и надежным он...

Минуты любви...

* * *

В платьице простом...
В костюме модном...
Грешница, в которой нет греха...
Так люблю, что из чего угодно
извлекаю музыку стиха.
Нет во мне ни грусти, ни упрека.
Я тянусь к тебе душой всей.
И мои беспомощные строки –
подражанье красоте твоей...

* * *

Сейчас мне кажется:
и раньше,
тебя встречая во дворе,
я знал уже, что день вчерашний
даст солнце завтрашней заре,
и утро в счастье обратится,
в сияние бездонных глаз,
вдруг прокричит над нами птица –
и сразу выдаст миру нас....

* * *

Когда расправляются крылья,
и птица – любовь
уже от земли отрывается с юной отвагой,
и первых полетов бесстрашная юная новь
становится сразу загадочной радостной сагой,
когда понимаешь,
что шанс есть последний — летать,
кружиться у звезд,
у осеннего солнца погреться,
все краски земные в букет с наслаждением собрать,
друг друга воспеть,
друг на друга, любя, наглядеться –
как гири на крыльях в такие минуты страшны,
которые жизнь незаметно для нас нацепила!
... В мгновенья полета, любимая, очень нужны
и нежность, и вера, и стойкость,
и слабость, и сила...

* * *

«Твой лунный лик»,
как говорили персы,
был холоден и никогда не гас.

От стужи я сбежал.
Но не согрелся:
твой холод догонял меня тотчас.
Тогда я возвращался.
И пытался
сердечным жаром стужу растопить.

Но лунный лик бесстрастно улыбался –
и продолжал всегда холодным быть...

* * *

Холодный ум.
Холодная душа.
Не растопить ничем мне холод этот.
Но как она безумно хороша!
Душа – зима,
а оболочка – лето
в сплошном цветении васильковых глаз,
ржанных волос,
румяно – нежной кожи...

И я штурмую льды в который раз
и падаю без сил у их подножья.

МИНУТЫ ЛЮБВИ

В минуты любви больше всяких Галактик
летащий в пространство цветастый халатик,
и хрупкие плечи, и тонкие руки,
и бездна объятий, и выдох упругий...

Минуты любви.

Дождь грибной над землею.

Но снова дела нас закрутят с тобою,
они увлекают и душу, и тело –
все отдано будет любимому делу.

И дни пролетят. И недели. И даты....

Минуты любви, вы умчали куда-то.

Мы прочно увязли, как мухи в липучке,
в заботах своих, в повседневной толкучке.

Но выпадет счастье – дороже Галактик
летающий в пространство цветастый халатик...

НЕПОВТОРИМЫЙ МИР

Вдвоем нам было хорошо.
Мир открывался ясный, зримый.
Неповторимый дождик шел.
Кружился снег неповторимый.
Час вместе—это сувенир,
нам преподнесенный судьбою.
В минуты эти целый мир
вдруг наполняется тобою.
Неповторимость рук и губ,
единственность улыбки, взгляда...
Был мир мне дорог, мил и люб —
и он остался мне наградой.
И вот уж много дней и лет,
несущихся куда-то мимо,
прекрасней сувенира нет,
чем мир любви неповторимый...

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Знал:

жизнь порой несправедлива
и даже скаредна вполне.

Но я-то был таким счастливым,
что даже стыдно было мне.
Я упивался каждой встречей,
когда я к милой приникал.
Я даже простенькие речи,
как музыку, воспринимал.
Тонул в любви.
И -- задыхался.
Поверил: вот она, судьба.

Над миром вечер занимался.
А свет фонарный у столба
покачивался невесомо.

Что мне за дело до других?
Вел от тебя к родному дому
не тротуар, а звездный стих.

Смотрел мне вслед юнец тоскливо:
он одинок был в тишине...

А я?

Я был таким счастливым,
что даже стыдно было мне...

* * *

Приподнявшись, ты потушишь свечи –
и тогда начнутся наши речи,
сбивчивые, шепотом, о том,
что при свете скажется с трудом:
о любви, о теле, о душе,
о руках, скользящих вниз по коже,
о давно рассказанном уже,
и о том, о чем молчали, тоже...

Поцелуи перебьют слова –
и пойдет кружиться голова,
разорвется на клочки дыханье,
и сплетутся жаркие тела...
Отчего же при свечей мерцаньи
ты сказать все это не могла?
Отчего при свете я молчал,
словно свет был кляпом, а не светом?
Лунный луч украдкой подбежал.
Ты и я – как Музыка с Поэтом...

* * *

Когда стоял я у окна
впервые тет-а-тет с тобою,
была такая тишина,
что, кажется, сердечным боем
всех в мире разбудить я мог!

К твоей руке я прикоснулся...

За окнами порхал снежок.
Никто, конечно, не проснулся.

Зимы торжественная новь
с весенним чувством в сочетанье
И -- первая моя любовь.
Окно.
И снег.
И – свет познания...

* * *

То легенда о Джульете,
то о Беатриче миф.
Сплетня бьется, как о риф,
о высокие соцветья,
бьет святые имена
женщин, нами вознесенных,
от забвения спасенных
словом, вырванным у сна...

А века идут вперед,
строая имена и лица...

Натали...
Лаура...
Птица
под окошком мне поет.
Женщины мои стоят
звездами на небосклоне.
Сплетни плечи к травам клонят.
Строки к звездам вдаль летят.

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

Рассыпался рассвет.
Оттаяла трава.
Я начал новый круг, надеясь на удачу.
Я вспоминал.
Моя кружилась голова.
Мне верилось:
вся жизнь теперь пойдет иначе.
Но полдень, пошутив, нахмурился опять.
Но желтый лист
упал безжизненно на плечи.
А мне хотелось вновь
стихи тебе читать—
увы, в других мирах
кружилась ты в тот вечер...

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Эти белые снежинки
в мягком свете фонарей.

Эти милые смешинки
в глубине твоих очей.

Этот редкий добрый вечер
с пеленою облаков
и укутавшая плечи
россыпь звездная снегов.

Грудью, где тесно так сердцу,
с наслаждением дышу.
И тобою наглядеться
в этот вечер я спешу,
потому что точно знаю
ненадежность тишины,
потому что понимаю
хрупкость снежной пелены.

И ценю мгновенье это,
нынче даренное нам,
где друг другом обогреты
ты и я назло снегам,
где не скажешь ты ни слова,
но такое льешь тепло,
что слова пылать готовы
синей стылости назло...

ЕДИНСТВЕННОСТЬ

Вот женщины спешат в толпе прохожих...

Внимательно я вглядываюсь в них:
есть много женщин, на тебя похожих,
но нет таких желанных и родных.

И остается для меня секретом,
которому я сам дивлюсь подчас,
твоя единственность в огромном мире этом,
неповторимость голоса и глаз...

*И қозда шафары
протрубят...*

ПАРАДОКС

Когда нас обязали нашивать
звезду Давида на одежду, разом
вернулось то, что стали забывать
в той мирной жизни и душа, и разум.
Вдруг тот, кто о еврействе позабыл,
кто так любил страну, где он родился,
припомнил, что отец субботу читил,
а дедушка лишь в талесе молился....
Так – со звездой Давида – и ушли
евреями евреи за край света....

А времена спокойные пришли –
и многим до еврейства дела нету.

* * *

А когда шафары протрубят,
и наступит Новый год счастливый,
буду я издалека, незримый,
радоваться за моих внучат:
дай-то Бог хоть им покой и свет
после многих черных Холокостов,
пусть живетя им легко и просто
первый раз за много тысяч лет!...

Размечтался!

Видно, стал я старым:

в грезах оторвался от земли.

Наши годы под трубу прошли.

Может, внукам протрубят шафары? ...

* * *

Переучили с левши на правшу.
Право, учили бы лучше другому!
Строю учили.
Учили и дома
быть осторожным.
Вращая пращу,
власть-Голиаф постаралась убрать
каждого, кто чуть похож на Давида,
лишь иногда позволяя для виду
глотки кому-нибудь в гневе подрать...

Вот и привыкли не драться, не думать,
не сочинять, не дышать и не петь.
А Голиаф – богатырь тугодумный—
мысль в порошок обещал истереть.
Но появляется смелый порою,
левою пишет,
идет не в строю,
занятый вечной опасной игрою:
волю он ищет в смертельном бою.

Тянутся годы.
Несутся столетья.
Все повторяется тысячи раз.
Песни Давида летят по планете.
Власть – Голиаф камнем бьет между глаз...

ИЕРУСАЛИМ

В белокаменном городе этом
все земные дороги сошлись.
Здесь царей неземных силуэты
с тяжелой правдой земною сплелись.

«Песня песен » еще не умолкла
и доносится с улицы к нам.
Грохот взрыва автобуса стекла
рассыпает по старым камням...

На крови замешали цементы
и бульжники древних дорог.
В белокаменном городе этом
в схватке сходятся дьявол и Бог.

Нам дожить бы до славной победы
и немного спокойно пожить! ...
В белокаменном городе этом
нить истории тихо дрожит.

* * *

Спустятся узники в новую Яму.
В Бабьем Яру отстучат пулеметы.
Кончатся войны.
И маленький кто-то
звонко окликнет счастливую маму.
Мир воцарится.
Убийца не будет
пояс шахида взрывать в дискотеке.
Люди впервой заживут, словно люди.
Рыбой заполнятся чистые реки.

Боже, о чем я сегодня мечтаю!
Что за судьба уготована внукам? ...

Облако взрыва на улице тает.
Смертник Аллахом взят на поруки...

* * *

Мы плодили своих молодцов,
чтобы выстоять и не согнуться.

Мы плодили своих подлецов —
подлецы непременно найдутся.
Подлецы молодцам, как всегда,
ставят ловко подножки, конечно...

Но проходят над миром года —
молодцы остаются навечно.
Вон их сколько:
Бар Кохба, Эйнштейн,
Бор, Ландау, Фейхтвангер, Спиноза...

Подлецы — это в сердце занозы,
лужи в рытвинах,
черная тень.

Все имеют своих подлецов.

Но немногие миру дарили
столько гениев и мудрецов,
что дорогу к вершинам торили...

* * *

В синагоге у стенки, где дерево жизни,
и ушедших фамилии – вместо листов,
я негромко сказал сам себе с укоризной,
что стать листиком здесь до сих пор не готов,
что цепляюсь, как прежде, за каждую встречу,
за рассветное солнце, ночную луну
и признать не хочу, что мой день – только вечер
или спуск к океанскому темному дну...
И себе я тотчас же нашел оправдание:
внучка похорошела – невеста совсем,
что-то крикнул внучок мне вчера на прощанье –
с ним легко говорить мне на тысячи тем.
Дождь из тучки на улицу свежестью брызнул,
саду майские ветры напели:
«Расти...»...
Дай-то Бог мне подольше на дерево жизни
от цветущих деревьев земных не уйти ...

ПАМЯТНИК МАЙМОНИДУ

Пол - тысячи лет, как евреев изгнали.
А дом сохранился. И целый квартал.
Три буквы еврейских из пыли достали,
и я, их не знающий, тихо читал
молитву за тех, кто ушел в неизвестность,
и тех, кто сегодня из дома бежит...
Изгнание. Расплата за труд и за честность.
Еврейский квартал, где рожден Маймонид.
Еще один странник, Точнее — изгнанник,
еще один лекарь и плоти, и душ,
еще один избранный Богом посланник,
живительный дождь на вселенскую сушь...

НА ИОРДАНЕ

Христос бродил по Галилее.
О камни ноги ушибал.

Что говорить там о евреях?!—
и гой его не признавал.
Не толпы шли за ним.
Двенадцать
учеников – его успех...
Час на Голгофу подниматься
ему под выкрики и смех.
Гогочут римские солдаты.
Рыдает мама у стены.
Отец невидим ни богатым,
ни бедным жителям страны.
Жизнь отдана за человека,
людским желаньям вопреки.
Христос молчит.

Лишь тень из века
в век бродит берегом реки...

* * *

Я несу не крест, а могодovid,
он намного тяжелей креста.
Кровоточит прошлое и стонет.
Будущее в море крови тонет.
Это все, конечно, неспроста.

Обречен сражаться ежечасно,
с Книгой Книг стою, а не с мечом.
Боже, детям дай немного счастья,
внукам — добрый свет,
пусть он не гаснет...
Всем входящим говорю:
«Шалом!»

Кто меня любовью удостоит?
Это — как химера, как мечта...
В жизни, что немногого и стоит,
я несу не крест, а могодovid—
он намного тяжелей креста...

.

* * *

Все так условно в мире этом.

Я мог родиться не в Союзе,
а в Африке, к примеру, где-то –
и жить беспечным, голопузым.
Сидеть под пальмой иль бананом,
не думая, что войны где-то,
что книги есть,
киноэкраны,
могилы братские и гетто.

Я мог родиться австралийцем,
американцем мог родиться.
Другие сны.
Другие лица.
В иных созвездьях мог кружиться.

Но... жизнь сложилась как сложилась.
И на нее я не в обиде:
во мне надежно уложилось,
что пережил и что увидел.
Конечно, мне в конце дороги
не так легко менять орбиты,
но и они дают мне много
и позволяют быть открытым
для новых лиц,
для новых песен,
для новой радости и боли.

Мне мир все больше интересен,
и счастлив я своею долей.

*Мне весело играть
словами...*

* * *

« Поэт – что малое дитя...»

Борис Чичибабин

Мне весело играть словами
и баловаться строчками.
Леса разлились соловьями.
Цветы морзянят точками.
Зимою я играю в лето.
А летом – в зимы вьюжные.

Мир был немым бы без поэтов,
дарящих песни нужные.
Из холодов цветы крутя,
в метель и зимы снежные,
поэт – что малое дитя,
доверчивое, нежное...

БОГАТСТВО

Нагуляйся лесами, душа,
надышись луговым ароматом—
и опять, как бывало когда-то,
станет старая жизнь хороша.
Мне опять улыбнется рассвет,
будет с другом счастливое братство...

Это – главное наше богатство:
юность сердца на старости лет.

* * *

Во мне и вне меня – потоки лет.
Жизнь склеилась из триллионов клеток.

И хочет, и пытается Поэт
все триллионы обратить к добру.

Его слова проносятся.
Их свет
сочится через сети гибких веток.

Во мне и вне меня – дрожащий свет
от слов,
от песни птицы поутру...

* * *

Летание поэтов над землей,
над рытвинами—буднями прекрасно.
Хоть ямы не исчезнут – это ясно,
из буден делать праздник—
труд напрасный,
но все ж стихи – как угли под золой:
из них, живым дыханием согрето,
вдруг средь зимы родится может лето,
и на снегах распусться цветы...

Все волшебство – в летании поэтов
над буднями и рытвинами.
В этом –
изюминка и доблесть высоты.

* * *

Пленник многих обстоятельств,
раб различных обязательств,
всем обязанный должник, --
я свободу обретаю
только в час, когда летаю
по страницам мудрых книг
или в час, когда перо
пробегаёт по бумаге:
хватит мне тогда отваги
сеять волю и добро...

* * *

Если каждую строчку писать,
как последнее слово,
как последнюю исповедь —
места для лжи не сыскать.
И тогда твои строки
созвездьями снова и снова
над Землей, утонувшей во лжи,
начинают сверкать.

Если каждую строчку
писать на последнем дыханьи,
если сердце вложить,
если душу вложить —
то строка,
может быть,
вдруг поможет
кому-то осилить страданье
и построить свой дом
не на пару минут — на века...

* * *

Безответность пугает, когда
от читателя нет ни словечка.
У Поэта – большая беда:
растворен в пустоте стих сердечный.
И не спит в ожидании Поэт,
и терзает Поэта сомненье...

...У читателя времени нет
для звонка, для письма и для чтения...

* * *

Словам не тесно, не просторно –
им в самый раз.
Они летят рекою горной
стремглав на нас.

Их бег вложить в строфу, конечно,
не так легко...
Миг – и умчались в бесконечность,
и – далеко...

Вершина вниз с небес высоких
роняет взгляд.
Форелью быстрой средь потока
слова летят...

* * *

Вздремнул Пегас.
Уснула Муза.
Поэт остался без друзей,
без вдохновенного союза
любви и юности своей.
Он в зеркало глядел тоскливо,
он ненавидел чистый стол...

А за окном июль игривый
ромашками беспечно цвел.

И вдруг взбрыкнул Пегас.
И снова
в седло поэта усадил.
А Муза, отдохнув, толково
перу добавила чернил
из рос и звезд,
цветов и фруктов,
веселой женщины в саду –
помолодел поэт как будто,
слова толкались на ходу
и строились.

Но в песне этой –
иной накал,
поменьше пыл.

Опять стихами стол поэта,
как в юности, завален был.

* * *

Написав миллиарды сценариев,
наш Творец в этом творчестве—гений:
от раба до всеильного Дария
дал он всем миллиарды мгновений.
Пьеса жизни талантливо ставится:
свет и тени... биенье сердец...

Скучно только все пьесы кончаются:
одинаковый дан им конец...

* * *

Правдивы все-таки поэты.

Да, лгать пытались иногда.
Да, строки тихо, как кареты,
ползли порою сквозь года.
Конечно, заблуждались часто.
Но все же – находили путь.
Как смертные, хотели счастья
и не хотели утонуть
в болотах будней.
Да, бывало
хотели угодить царям.

А лгать не в силах:
выпирало
все лживое мгновенно там,
где притворялись...

Невозможно

скрыть ложь поэту – все видать.
Вот почему поэту сложно
бывает жить и умирать.
Его душа – как на рентгене
видна любому.
И – насквозь.
Он не по щучьему веленью
творит.

Дитя тревог и слез,
стих должен быть правдив до точки,
до запятой, до букв...
Года
просеивают жестко строчки,
ложь не прощая никогда.

В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ЛИЦЕЕ

У кельи в Лицее, где рос не монах,
а грешник,
к тому ж — гениальный!,
где мы, экскурсанты, тонули в стихах
веселых, а чаще — печальных,
где скромная комната воссоздана,
где воздух, похоже, все тот же,
душа моя стала чиста и пьяна,
мне было легко и тревожно.
Все зная, увы, наперед, я мечтал
увидеть хоть краешком глаза
ту жизнь, о которой так много читал,
и где не бывал я ни разу.
Быть может, случись мне пробиться туда,
сумел бы исправить я что-то,
и с Пушкиным бы не случилась беда
так рано, в разгаре полета.
Я слушал стихи.
Вспоминал.
И мечтал,
прекрасно отчет отдавая,
что жизнь он свою, как стихи, написал —
летая,
играя,
страдая.
И так же, как строчку, нельзя изменить
ни жизни, ни смерти Поэта.
И нам остается лишь, право, ловить
здесь тени и сполохи света...

К Л О У Н

Я вас, конечно, рассмешу
и сам развеселюсь.
На плечи смех я усажу,
с ним в космос устремлюсь.
Там станут звезды хохотать
от шуточек моих,
и будет хохот мой летать
кометою меж них.
Я – клоун.
Фаворит детей.
Любимец всех, кто смог
не растерять души своей
на рытвинах дорог.
Смеются взрослые с детьми...

А те, кто хмур всегда,
забыли прочно слово «Цирк»
и – ни ногой сюда.

А К Т Е Р

Актеры вывернули души,
чтоб нас развлечь или увлечь.
На сердце стало чуть получше
и захотелось сбросить с плеч
все бесконечные заботы,
весь груз находок и потерь...

Благодаря актерам, кто-то,
кому и жить-то не в охоту,
жить заново решил теперь.

Все разбредались по машинам,
катили в собственную жизнь.
Шуршали по асфальту шины:
« Держись, дружок...
Дружок, держись...»
Уже затягивалась сцена
туманом будней.
Но еще
мы помнили, какую цену
платил актер, чтоб непременно
кому-то стало хорошо...

МИХАЙЛОВСКОЕ

В то время все было похожим,
и все же все было иным.

Но солнце сегодня все то же,
и те же туманы — как дым,
над водами стелются тихо,
а к полдню растают...

Потом

озера приветливо вспыхнут
глубоким бездымным огнем.
Разнежится Сорочь под солнцем,
согреются поле и лес.

Раскованно сердце забьется:
спокойно мне дышится здесь,
где каждая ветка — как арка
на входе в страну тишины,
а в шелесте старого парка
любимые строчки слышны...

ЯЗЫЧНИКИ

Мы — язычники:
тысячи лет
Солнце славят и славят поэты.
И, наверно, для всех нас поэтому
негасим его радостный свет.

Мы — язычники:
тысячи раз
звезды строчками увековечены.
Потому-то свет звездный, конечно же,
за века для людей не погас.

Мы — язычники:
снова ракета
распустила оранжевый хвост..

И язычество—песня поэта —
помогает познанию звезд.

ЧИТАЮ ЛЕРМОНТОВА

То ли оттого, что был недолгим век,
то ли по какой другой причине,
созревал быстрее человек,
мальчик раньше делался мужчиной.
Успевали мыслить и писать
вопреки безжалостному року.

Нынешние могут их понять
разве только к старческому сроку.
Инфантильность нынешних мужчин
даже иногда меня пугает:
вот порхает бабочкой один,
вот другой, уже седой, порхает.
Надо бы задуматься, понять,
жизнь осмыслить и переиначить...

Но – порхают.
Выпала удача:
жизнь прожить и жизни не узнать.

МИФЫ И СКАЗКИ

Боги.
Или полубоги –
дети смертных и богов.

В нашей жизненной дороге
мы невольно понемногу
вызываем на подмогу
мифы пройденных веков.

Бог всегда помочь готов.
Да и полубоги тоже.
Кто же нам в пути поможет
разобраться в том, что сложно:
строит жизнь такие рожи!...
Путь наш – труден и рисков.

С гидрой справился Геракл.
В небеса Дедал взлетает.
Сам Орфей нам подпевает.
Прометей отогревает
мимоходом, просто так...

Верим, скептики, в любовь:
меч Персея – в небе чистом,
Андромеды взгляд лучистый –
в переливе звезд искристом
льется в полумраке вновь...

Мой внучонок с интересом,
жадно слушает сейчас
миф о громовержце Зевсе,
о Самсоне древний сказ.
Он сомкнет под вечер глазки,
за денек устать успеет,
под живительный распев
пушкинской бессмертной сказки...

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Извечная жива несправедливость.

К примеру, Бах.

Известен всем нам он.

А вот кому, скажите мне на милость,
известно, кем орган изобретен?...

* * *

Когда один,

и в доме — тишина,

и по бумаге ручка пробегает,

приходят те, кто в доме не бывают,

но с кем общаюсь я во время сна.

Услышу голоса.

Глаза увижу.

Поговорю, смеясь, о том, о сем...

И старый дом наполнится теплом,

не обойден никто и не обижен.

* * *

Из кирпичиков – стихов
домик жизни сложен прочно.
Надо только просмотреть,
разобрать и вновь собрать.

Жаль, никто в моих стихах
ковыряться не захочет:
жизнь как жизнь — таких мильон,
что в ней можно отыскать?
В ней вино — как вина все.
Кровь как кровь.
Как жилы—жилы.
Лес-- как лес.
Река — рекой.
Горы — выше облаков...
Много домиков-стихов
за столетия сложили.

Нет, неправда!
Дом — как дом разве что у дураков.
Потому что каждый стих,
если только он не списан,
это — тайна и восторг.
Сочинил и я свой стих.

Строит домики поэт.
Все свое в них,
даже листья,
даже снега и дожди
не похожи на других...

РОЛИ

Идя в актеры, каждый хочет
быть в главной роли.

А потом
жизнь-людоедка отхохочет
над абсолютным большинством.
Не потому, что посмеяться
хотелось...

Так заведено,
что на подмостках протолкаться
вперед не каждому дано.
Жизнь часто расставляет цены
не так, как виделось в мечтах.
Счастливым трудно быть на сцене,
труднее—на вторых ролях.

Но знал я много тех, кто тихо
и, в общем-то, спокойно жил,
и суетой, и криком лиха
не будоражил, не будил.
И тех я знал, кто был в премьерях,
кого носили на руках,
и даже тех, кто в самых первых
и главных выступал ролях.

Но был спектакль никудышным
и бесталанным режиссер,
и счастья все-таки не вышло
и не выходит до сих пор.
Так, видимо, и не узнаю,
что поважнее: рампы свет
иль тень кулис, где слава тает,
но суеты и драки нет...

* * *

Писать разборчиво и ясно
труднее, чем писать заумно.
Где все запутанно и шумно,
лишь головная боль потом.
Но убеждать, увы, напрасно:
идет лавина слов бездумных,
что для читателя опасно...

Дается простота трудом.

По просторам земли

* * *

Под небом Андалусии,
Точней — Андалусии,
маслиновые рощицы,
бескрайние леса.
Там Дон Жуаны водятся,
изящны и красивы,
у девушек там талии — завидует оса...

Там замки в скалы врезаны,
там крыши черепичные,
в старинных узких улочках заблудишься легко.
Там вспомнил неожиданно я то сугубо личное,
о чем забыл давным-давно,
что сплыло далеко...

В соборы кафедральные спешат девчонки—
грешницы:
грехи им отпускаются в исповедальнях там.
И серенады, кажется, взлетают вверх по лестницам
и ночью разбредаются по вековым садам.

Под небом Андалусии,
точней — Андалусии,
в Гранадских ли,
Севильских ли,
Кордобских ли дворцах,
вдруг строки мне являются, веселые, босые,
что отзовутся, может быть, в отзывчивых сердцах...

ЗАЛ ФЛАМАНДСКИХ НАТЮРМОРТОВ

Прозрачность спелых ягод винограда...
рубиновость граната....
баклажан...
вино в бокале светится прохладно...
лимонной кожи завиток – с ножа...
Фламандский зал был пуст.

Со мною рядом
стояла незнакомка.
Виноградом
ее зеленых глаз был восхищен,
гранатовым колье,
лимонным платьем...

Конечно, к ней поближе подобраться
я не решился.
Был ошеломлен
нежданным сочетаньем натюрмортов—
и девушки.

Мне стало отчего-то
так радостно от тех пяти минут
в огромном тихом эрмитажном зале,
где только я и девушка стояли,
где лампы натюрморты освещали
и где, не увядая, без печали,
цветы веками долгими живут! ...

ЖАРА В СЕВИЛЬЕ

« Ночной зефир
струит эфир,
шумит,
бежит Гвадалквивир...»
А.С. Пушкин

Севилья. Башни.
И -- Гвадалквивир
течет на запад вольно и неспешно.
Жара...
Какой уж там ночной зефир,
какой уж там живительный эфир!
Спасенья нет... И праведник, и грешник
-- все отданы пылающей жаре,
стоящей днем и ночью во дворе.
Все неподвижно: воздух и сады.
Лишь у собора шевелятся тени:
касается и башен, и воды
таинственных веков прикосновенье.
И все же шепчет мне с надеждой мир:
« Ночной зефир... эфир...
Гвадалквивир...»

ЛЬВИНЫЙ ДВОР В ГРАНАДЕ

Двенадцать львов поддерживают чашу
фонтанчика на внутреннем дворе.
Вода журчит, перетекает, пляшет,
чуть светится на утренней заре.

Весь Львиный дворик, празднично-уютный,
притягивает сердце, как магнит.
Отсчитывая звонкие минуты,
история у краешка стоит.

Она перебирает, словно четки,
века,
народы,
страсти,
ночи,
дни.

Струя, текущая из львиной глотки,
струной гитары без конца звенит,
поет о быстротечности мгновений,
о вечности, дарованной воде...

Двенадцать львов, как множество сомнений,
так равнодушны к счастью и беде.

И мы с тобой пришли на счастье наше
сюда всего на несколько минут.

Дворец молчит.
Вода фонтана пляшет.
Львы молча смотрят и чего-то ждут...

* * *

В Париже июль был нежарким:
не больше, чем двадцать, с утра.

Аллеи Версальского парка
еще не спалила жара.
Фонтаны, однако, не били,
поскольку проблемы с водой.
Венера, покрытая пылью,
казалась старушкой седой,
хотя ей каких – нибудь триста,
ну, может, четыреста лет...

Версаль был отличным артистом:
он спел нам счастливый куплет
о времени давнем,
о дамах,
о рыцарях и королях,
о том, что кончаются драмы,
и комиксы – в главных ролях.
Сложилась из трагикомедий
парижская пестрая даль:
фонтан – без воды,
без созвездий –
Версаль, Этуаль и Пигаль.

Бродилось легко.
И подарком
июльская стала пора.

Нам было в Париже не жарко:
не больше, чем двадцать, с утра.

Выбор есть...

* * *

Говорят, что все – от Бога...

Тот, кому дано так много,
не терзается, живет,
пиво пьет,
играет в карты,
в казино идет азартно,
любит девушек, понятно,
песни нежные поет...

А другой своим талантом
и трудом на путь Атланта
стал:
и небо — на плечах,
упирает в скалы спину,
ничего наполовину
он не делает.
Лавина
дел — вся жизнь идет в делах...

Что же в этом мире лучше:
тяжело брести на кручи,
поднимая небо, жить?
Или жить – и веселиться,
не оставив след, как птица
среди себе подобных птиц?...

Я не знаю.
Есть дорога,
на которой все – от Бога.

* * *

Выбор есть.

И это – знак от Бога.

Выбор – в том, что каждая дорога,
избранная мною и тобой,
может завести в тупик однажды,
но и к новым далям нас, отважных,
тоже может вывести порой.

Выбор есть.

Он – между тьмой и светом,
между стужей зимней или летом
с жаркими сияньями зари.

Он – между трудами и бездельем,
он—между печалью и весельем.

Выбирай.

Внимательно смотри!

* * *

К сорока порой казалось:
жизнь окончена уже,
и на новом вираже
мало нового осталось.

А к пятидесяти мне
на высоком перевале
показалось: все печали
где-то далеко отстали,
и сумею я вполне
что-то новое добыть,
что-то заново отстроить.

В шестьдесят я был героем,
Мог к вершинам восходить.

А теперь рукой подать
до семидесяти стало.

И куда вся жизнь умчала?
Я не в силах разгадать.
Просто больше я ценю
каждый данный день отныне,
звездный полог темно-синий
и зарю – запев ко дню...

* * *

Спасенный случайно от гетто,
я жизнью счастливой живу.
Встречаю улыбкою лето,
мне осень – как сон наяву.
По россыпи искр прошагаю
в застуженный день января.
Весну, как подарок, встречаю:
прекрасна апреля заря...

Но прячется боль моя где-то
в глуби моей юной души:
мальчишки, убитые в гетто,
и девочки -- так хороши!
Не встретили и не запели,
не выпили жизни нектар.

Случайно спасенный, в апреле
встречаю рассветный пожар.
И солнце встает.
И дорога
доныне светла и мила.

Но мир недалек от порога,
где черная яма легла.
Мир топчется, топчется где-то
и тянет магнитом туда,
где мальчик на улицах гетто,
хоть нет от него и следа...

* * *

Друзья ушли,
забыв меня позвать с собой в дорогу.
Они по свету разбрелись,
по весям и по городам.
Я ждал, что прозвучит их зов,
что встретимся, и понемногу
все вместе возвратим себе,
что помогало нам.
Но минуло немало лет.
Никто не отзовется.
Кто очень занят.
Кто – ушел.
Кому-то дела нет...
А все ж мне в жизни повезло:
я знал, что дружбы солнце
душе дарило не пустяк,
а путеводный свет.

* * *

Ничего не знаю о вечности,
хоть и думаю часто о ней.
Что-то вечное по беспечности
растерял в мельтешении дней.
А когда стану атомом вечного,
будет поздно хоть что-то менять...

Но и в сладостном миге беспечного
было радостно мне пребывать.

* * *

Ни тонкому стволу березки юной,
ни великану-клену никогда
не причиняй безжалостно вреда:
пусть солнцем умывается листва,
пусть на ветвях качается звезда,
пусть по стволу поток струится лунный,
пусть не коснется дерева беда...

ОШИБКА

Где грань между добром и злом?

Порой того и сам не знаю,
не нахожу,
не понимаю,
и с доброй радостью ломаю
так трудно выстроенный дом.

А строил я его для счастья,
для теплоты и доброты.

И надо же, с какой страстью,
порыва странного во власти,
разбил я все свои мечты
одним неосторожным словом,
одним движением руки!

Где грань?

Зубрю урок суровый,
чтоб в будущем однажды снова
все сделать сердцу вопреки...

ПЕРЕД СНОМ

Ангелом на цыпочках
подойди ко мне,
поиграй на скрипочке,
успокой во сне—
сны мои тревожные
отойдут в туман.
Сделай невозможное:
подари обман,
все, мол, стало радостным,
в мире нет разлук,
не натянут яростно
смертоносный лук,
и стрела нацелена
вовсе не в меня,
меряно не меряно
счастья и огня...

Скрипнула калиточка,
звякнула вдали...

Ангелы на цыпочках
от меня ушли...

* * *

Есть ли я или нет меня –
мир останется прекрасным.
Брызнет кровь рябины красной
в жар осеннего огня.
Зашуршит листва дубов,
клены золото разбросят,
на лугу огнями – росы,
в поле – обмолот хлебов.
Кто-то отвернул лицо,
кто-то весело смеется...

Все прекрасным остается,
как во времена отцов.

* * *

Что-то переменится,
кто-то приоденется,
с кем-то познакомимся,
кто-то отойдет...

Жизнь по склону катится.
Никуда не денутся
только те, кто любит нас,
кто всегда нас ждет.

* * *

Вторая молодость мне, вроде, ни к чему.
Мне бы прожить единственную старость
достойно,
чтобы все, что мне осталось,
подвластно было сердцу и уму.
Я повторенья жизни не хочу:
спасибо за единственную!

Вроде,
жизнь пронеслась в счастливом хороводе,
подобная весеннему лучу.
А то, что было и более немало,
что многого порою не хватало –
не страшно:
было счастье мне дано.

Царапает метелица окно,
а я нетерпеливо жду весну:
апрель согреет ласкою сосну,
по капельке повесит на иголках,--
и я не буду тосковать нисколько
по детству или юности моей,
согретый ярким солнцем новых дней.

* * *

Вихри догадок.
Идей круговерть.
Жизнь удивительна.
Великолепна.

Хочется выкинуть чудо-коленце:
Взять-- да и в старости не умереть!

*Моя жизнь
(неоконченные
воспоминания)*

...Я и сам не знаю, стоит ли все это начинать.

Воспоминаний о жизни написано много.

Вспоминают все, кому не лень.

Было время, когда я увлеченно читал одни воспоминания – и влезал по уши в эпохи, давно и недавно ушедшие.

Я читал чужие дневники – и многие из них незаметно определили и мои взгляды на события моей, человека другого времени, жизни...Странно... Но это были воспоминания, письма, дневники, скажем, Дидро или Пушкина, Горького или Телешова, Вересаева или Шкловского.

А что может добавить к картине мира воспоминания человека рядового, случаем заброшенного в необыкновенную эпоху, какой, может, еще и не было в истории? Кому интересны воспоминания человека, который долгими годами уезжал из дома с первым поездом метро, пересаживался на автобус и уже в шесть сорок стоял у кульмана, чтобы до начала рабочего дня что-то прочертить, решить скучную для большинства людей конструкторскую задачу, потому что с началом рабочего дня он должен был отвечать на вопросы своих коллег и подчиненных, сидеть на оперативках у ничего не понимающего в работе директора, случайно попавшего на директорский пост только оттого, что был этот самый директор своим в партийных органах и работал до этого в народном контроле, а теперь надо было не дать ему добить все толковое, что еще оставалось в организации, потом надо было спешить в цех, где шла отладка нового станка, и т. д. и т.д?

Кому интересны картины жизни простой семьи, где все были великими тружениками, никто не лез в большое начальство, и потому все жили обычной жизнью большинства советских людей – то-есть

жизнью полунищей, от получки до получки, и потому только счастливой, что сами эти люди ни с чем не могли свою жизнь сравнить — не с чем было?...

Кому интересно читать о горах, где я бродил каждое лето с друзьями? Большинство-то твердо знает, что умный в гору не пойдет, а воспоминания глупца и читать-то ни к чему?

Кому интересно читать воспоминания поэта, книги которого читались немногими, нравились этим немногим, но никогда не удостаивались ни лауреатских лавров, ни правительственных наград, да и почетных званий поэт не получал никаких. Более того, никогда поэт не пытался стать членом писательского союза, понимая про себя, что писание не терпит никакой коллегиальности, как и суеты, и жил независимо от всех других писателей, питаюсь от своего инженерного труда. Хотя книг вышло не так уж мало...

Стоп. Чего я так уж себя унижаю? Вот прислал мне один мой старший коллега свои воспоминания, и подтвердилась истина, что каждый из нас – планета, и на каждой свой свет от своего Солнца. И ничего в тех воспоминаниях не было особенного, а оживили они ушедшее время, мир разрушенных довоенных коммуналок, годы войны, описанные неумелой рукой участника с деталями, которых у великих мастеров я не находил... И было мне – интересно!

Да и дети этого человека спасибо ему сказали за имена и жизнь деда, бабы, дядюшек и тетушек, лежащих в Бабьем Яру, за то, что новыми глазами глянули на маму свою и папу – и удивились...

Так что начну и я, бессистемно, когда захочется, что захочется, без хронологии – как приснится или вспомнится. А снится – многое...

Как говорится – с Богом!

... Кажется, эта гомельская улица называлась Крестьянской. Или Нововетренной? Маленькая комната, кровать мамы и папы – с никелированными блестящими шарами. У стены – моя кроватка. Между кроватями – столик у окна. И в углу —старый, почти черный от времени шкаф.

Кажется, все.

Нет—нет, из окна, за невысоким забором и пыльной дорогой шумит рынок, там полуторки, подводы, крики и споры. С другой стороны дома -- железная дорога, поэтому периодически дом подрагивает. Тут же и переезд, Мохов, по-моему. Гомельчане, конечно, знают и сейчас это место...

Там, в съемной комнате, мы и жили в Гомеле до войны. Мама говорила, что следила за мной « маленькая бабушка» — маленького роста моя прабабушка, но ее я не помню. Зато удивил маму однажды, когда лет в тридцать рассказал ей, что помню розовощекое лицо бабушки Ханны, маминой мамы, которая умерла в тридцать девятом году. Мне было тогда три года. Мама подтвердила, что была бабушка розовощекой, так как была гипертоником... Вот вам и фокус – запомнить не лицо, а его розовощекость! А лицо я больше помню по фотографии, чудом сохраненной в альбоме...

Фамилия моей бабушки Ханны была Комиссарова, из этой семьи я знал и полюбил на всю жизнь бабушкину сестру Ривку. Слышал еще и о других Комиссаровых, но не узнал их, к великому моему сожалению.

С бабушкой Ривкой - звал я ее тетей -- встретился я десятилетним мальчишкой в Баку в сорок шестом

году, когда папа после фронта и госпиталя демобилизовался из армии и был направлен на работу на текстильный комбинат.

Семья тети уехала, а точнее, сбежала от «почетного звания» «лишенцев» из Гомеля в конце двадцатых годов: у мужа бабушки Ривки было во времена НЭПа свое небольшое дело, кое-как кормившее семью, в которой было четверо детей— Мотя, Майорка, Хоня и Слава. Кончился НЭП – и миллионы людей были лишены права на нормальную жизнь, образование, карьеру только потому, что наивно поверили в новую политику партии... Их дети не могли получить нормального образования, сами они были лишены работы, а потом, по причине того, что не работали, их с семьями ссылали... Иезуитская система, выработанная для подавления всего и вся, работала, к счастью, со сбоями, как это и ведется в России по сей день. Можно было уехать куда-нибудь подальше от родного дома, скрыть свои несуществующие грехи, что и делали миллионы несчастных людей самой счастливой страны мира...

Сделала это и семья тети Ривки и дяди Бориса— Боруха.

Отец большого семейства Борух Блюмин был человек добрейший, и эта доброта была написана на его лице, всегда приветливом и открытом. Он остался таким и после войны, когда я его узнал, хотя на долю его семьи выпало такое, что и писать об этом страшно...

Судьба троих сыновей сложилась трагически.

Майорка и Хоня совсем мальчишками — девятнадцать и восемнадцать лет -- погибли на фронте в первых же боях. Старший сын Мотя, врач, всю войну провел на фронте, сначала германском, потом на Дальнем Востоке. Вернулся с фронта. Был демобилизован по болезни. Работал врачом, а потом

тяжело и долго болел. Ушел из жизни совсем молодым.

Его жена, дети и внуки ныне оказались в Израиле – выехали после трагических событий в Баку в начале перестройки. Там же живет с мужем и семьей дочери Славочка — единственная оставшаяся из славного рода Блюминых, вернее, из старшего поколения ...

Дядя Борис — так мы звали его – работал в Баку на предприятии, где перерабатывали фрукты и производили консервы. Смерть сыновей подкосила его, и он умер молодым. О его доброте говорит то, что когда он заболел, неграмотные азербайджанские женщины из его цеха приходили на улицу Ази Асланова и плакали под окнами дядиной квартиры, молясь за здоровье дяди Бориса и называя его отцом...

После голодных лет в Кургане, мы с мамой в Баку попали в рай: тепло, нам дали квартиру в поселке Ленина, где папа стал работать на текстильном комбинате. Под окном росли две шелковицы: одна -- с черными крупными ягодами, вторая – с белыми ... Впрочем, мы называли эти ягоды тутовником— предполагаю, что это местное название. Я никак не мог дождаться, когда ягоды созреют...

Там, в Баку, я и узнал тетю Ривку, дядю Бориса и Славочку, тогда прелестную, кудрявую студентку Нефтяного института.

Худенькая, всегда в хлопотах тетя Ривка несла в себе колоссальный заряд доброты и стойкости. И боли. Я часто видел, как смотрела она на фотографии Майорки и Хоника – юных своих сыновей. Мне кажется, она с ними разговаривала каждый вечер до конца своей жизни – а судьба дала ей жизнь долгую. Встречая на улице инвалида, она иногда говорила:

-- Хоть бы мои вернулись – без ног, слепые, я бы за ними ухаживала...

Всю боль дяди Бориса и тети Ривки я почувствовал однажды, когда брат моей мамы, живущий в Ленинграде, Хоня, проездом в командировку или на лечение через Баку, прислал телеграмму о том, чтобы его встретили. Телеграмма была подписана просто— Хоня. И почему-то сразу решили, что приезжает сын – давно погибший Хоник...

Так и ждали детей до конца жизни.

Я—тогда десятилетний мальчишка – обожал этот дом на улице Ази Асланова, старый, с арочной полутемной подворотней, с дверью налево, за которой меня, маму и папу всегда встречали ласково и приветливо. В спальне у дяди и тети под старой кроватью стоял ящик с сухофруктами. Поэтому и запах тут был особенно сладкий — и я не выдерживал и начинал глотать слюну. Конечно, дядя и тетя видели это, но улыбались и молчали. Наконец, не выдержав, я – ужасно стеснясь! – спрашивал робко:

-- Чем это так пахнет?

Мама тотчас начинала ругать меня, а дядя строго говорил ей: « Не трогай ребенка!», вытаскивал из-под кровати заветный ящичек и насыпал мне в ладони сухие яблоки, груши и чернослив. Это было наслаждение, о котором можно было только мечтать...

Еще я влюбился в Славочку. Я любил ее письменный стол, лампу с зеленым абажуром— никогда потом не встречал такую, но всегда вспоминал с любовью...

У Славочки был жених—Гарик, которым она командовала – так мне казалось тогда. Потом, через много лет, мы приезжали в Баку, останавливались у Славочки, на балконе Гарик готовил вкуснейшие шашлыки, собирались гости – интернационал гостей, как был интернационалом и сам тогдашний Баку, было сердечно, весело, вкусно – и никто не мог

предвидеть, как легко рассыплется все это, и занесет судьба Славочку с Гариком и семьей их дочери в Израиль, и мы встретимся уже там, и будет хлебосольно, но уже не будет ни тети Ривки, ни Мотика, ни балкона с мангалом, ни неповторимых запахов бакинской улицы Ази Асланова...

Впрочем, постоянством я не отличался и в школе влюбился в Адочку Ализаде, прехорошенькую смуглянку — конечно, эту тайну я хранил в себе до сегодняшнего дня.

Мне было десять лет! Я шел после уроков в школьный двор, становился у стены школы, задирал голову: по небу плыли облака. Невдалеке шумело море, пахнущее нефтью. Я смотрел в небо, и вдруг стена начинала наклоняться на меня, грозила раздавить — и тогда я мчал домой. Мама приходила в обед с работы, кормила меня и уходила на работу, заперев меня на ключ. К стеклянной двери нашей веранды приходил мой единственный новый друг Лесик, больной гемофилией мальчик, которого я старался в школе защитить от драчунов: при кровотечении Лесику помогало только какое-то невероятно дорогое американское лекарство, которое его несчастная мама—библиотекарь школы, покупала на рынке, отдавая всю свою нищенскую зарплату. Отец Лесика погиб на фронте, как они выживали, я не знал, но уже понимал всю сложность их жизни и жалел их...

Впрочем, все мое поколение теперь мне кажется очень рано повзрослевшим...

Я ставил на пол шахматную доску, расставлял фигуры. Лесик через дверь называл свой ход — так мы играли иногда до самого прихода мам с работы.

Еще помню я тринадцатый трамвай, которым мы ездили иногда из поселка до города. Трамвай шел по Черному городу, где пахло нефтью, звеня и трясясь...

Летом сорок шестого года в парке нашего поселка был суд над азербайджанкой, которая пыталась вынести сто грамм ниток с комбината. Все плакали – суд был в парке, показательный, у женщины было много маленьких детей, муж ее погиб на фронте, а дали ей много лет тюрьмы. И еще шепотом все говорили, что директор комбината, толстый невысокий азербайджанец, в своей машине вывозит с комбината много ткани, и его родственники продают ее потом на рынке из-под полы...

Это воспоминание осело во мне на всю жизнь.

Вспоминаю, как купались мы в море, а потом на теле оставался мазут, и мама никак не могла смыть его с меня. Мама работала в гараже автобусного парка, и шоферы охотно брали меня в рейсы, когда изредка мама брала меня к себе на работу. Я сидел рядом с шофером, смотрел на дорогу, было жарко, асфальт плавился и тек с крыш — его называли «кир». Старые довоенные автобусы тряслись на ухабах давно не отремонтированных дорог, а я мечтал о чем-то.

В степи за окнами нашей квартиры еще стояли зенитки: во время войны они должны были защитить Баку от налетов немецкой авиации.

С мальчишками я однажды побежал на рынок. Там стояли огромные и очень важные верблюды, и мальчик дал мне шапку с куском соли и научил протягивать ее верблюду. Когда верблюд жадно тянулся к соли, надо было убрать шапку в сторону. Все мальчишки хохотали...

Через пару минут верблюд возмущенно глянул на меня с высоты и оплевал внезапно зеленой вонючей слюной, после чего зрители повалились на землю от хохота...

Там же, в Баку, я побывал на первой в моей жизни свадьбе: сын дяди Бориса и тети Ривки Мотя приехал

из Порт Артура в отпуск, худенький, подвижный, веселый, с капитанскими погонами и орденами. Приехал впервые за шесть лет. И женился на Лене. Пара была красивая, свадьба в тесной квартире—многолюдная и веселая, все кричали молодым: «Горько!», молодые целовались и смеялись. Пахло вкусными блюдами, мама накормила меня фаршированной рыбой—впервые в жизни! И кусочком жареной миноги – вкус я помню и сейчас! Мне казалось, что все люди на свадьбе – красивые, и что счастье будет теперь навсегда.

Увы, счастье у Моти и Лены было недолговечным. У них появились две девчушки—Мила и Лиля, с которыми я познакомился уже много позже, когда после одного из горных походов по Фанским горам мы приехали в Баку.

Вскоре после войны Мотя заболел, война крепко сидела в нем, был демобилизован инвалидом, правда, работал врачом, и при нашей встрече через годы уже не напоминал того худенького и веселого капитана. Он был сердечным, добрым, похожим на отца. Но очень больным. И ушел рано.

Со Славочкой и ее семьей мы встретились уже в 1995 году, через полвека после свадьбы, когда приезжали в Израиль...

Чуть не забыл, как впервые в жизни попал в больницу – кажется, называлась она БОЛЬНИЦА СЕМАШКО. Я заболел скарлатиной, тогда больных помещали на сорок дней в больницу.

Почему-то этот период запомнился несколькими страшноватыми событиями. Во – первых, детская палата помещалась рядом с моргом, и мимо нас возили умерших в больницу или в городе. Ребята постарше сидели у окна и сообщали нам страшные детали увиденного, а скорей всего, придуманные ими

же, после чего по ночам я лежал под одеялом и каждая тень казалась мне чем-то страшным... Во-вторых, в парке какие-то бандиты зарезали группу молодых армян и всю ночь к моргу бегали родственники, плакали в голос и кричали что –то на непонятном мне армянском языке... В- третьих, произошло еще одно непонятное детскому воображению событие: больница была на горе и ходил к ней трамвай. Однажды тормоза отказали и трамвай покатился вниз, набирая скорость.... Опять – таки, тела пострадавших мимо наших окон везли в морг и было страшно от всего этого.

Мама после работы из нашего дальнего поселка ежедневно приезжала в больницу, привозила мне что-нибудь вкусное и передавала через окно.

В день выписки из больницы она приехала за мной на автобусе, который дал ей начальник гаража. Все ребята завидовали мне и жалели, что меня выписали: я им рассказывал массу придуманных и прочитанных историй по вечерам, и засыпал последним...

Еще на пляже в Бузовнах я копался в песке и меня укусил скорпион. Боль была сильная, меня завезли в больницу и сделали болезненные уколы. Впрочем, с болью я справился, а от внимания любопытных ребят, который приходили смотреть на мой палец, стал заносчивым и гордым. Ненадолго, правда...

Словом, жизнь наша в Баку после голодного Кургана начала налаживаться, но папа рвался в Минск, откуда писал ему письма единственный уцелевший брат Евгений — художник Белорусской киностудии...

До войны папа успел окончить заочно Московский финансово-экономический институт, но война

помешала ему защитить диплом. И вот папа подготовил диплом, в середине сорок седьмого года уехал в Москву и с отличием прошел защиту.

В Баку он не вернулся, а прислал нам телеграмму, чтобы и мы с мамой выезжали в Минск, на родину...

Поезд медленно шел по разоренной войной земле. Разрушенный вокзал в Ростове. Сожженные дома в каком-то большом украинском городе. В вагоне вечером тускло светила одна на весь вагон лампочка, в окно без стекол дул ледяной ветер—поезд шел на север, и осень стояла уже, наши соседки по вагону пели в полутьме протяжно и красиво « Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...»

И, наконец, короткая остановка в Гомеле, и опять слезы мамы – на этот раз уже плакала она по прошлой довоенной жизни и погибших своих близких. А, может, и по ушедшей за войну своей молодости – так я думаю сейчас...

Мама жалела, что мы уехали из Баку, из нашей однокомнатной с большой верандой квартиры. Я тосковал по Лесику и, конечно, по Адочке Ализаде и Славочке... Вспоминал тутовник, верблюдов, жаркое лето, море с пятнами мазута, желтую пустыню за окном с зенитками, улочку Ази Аланова, семью Блюминых, заветный ящичек с сухофруктами под кроватью у тети и дяди, мечеть недалеко на горе... Понимал, что кончилось что-то неожиданно хорошее, теплое, и впереди – неизвестность, под названием РОДНЫЕ МЕСТА, где нас ждали папа и незнакомый мне пока его брат дядя Женя...

Утром, просыпаясь, я смотрю на висящие в спальне напротив фотографии. Солнце, выкатываясь из-за горизонта, весь год меняет свое положение: зимой оно

чуть задевает пару фотографий в правом уголке, к весне его свет заливает больше половины стены, а летом вся стена залита розовым светом зари, и я отчетливо вижу каждое лицо—бабушки, дедушки, даже – прадедушка—фото 1870-х годов! Рядом — улыбаются папа и мама, сестричка, друзья—их много, этим Бог меня не обидел. Внучки и внуки...

О некоторых родственниках я знаю чуть-чуть. Некоторых знаю как самого себя.. О некоторых только думаю, что знаю...

Так каждый день и моя память, как луч солнца, перебирает дни и лица, высвечивает мелочи и крупное, и потом то, что вспомнилось, до поры уходит в тень, чтобы опять ожить, приобрести зримые черты, улыбнуться или состроить гримасу...

Кстати, я был счастлив, когда при помощи компьютера стали мои дети создавать наше родословное дерево, находя многих погибших и живущих с помощью переписки или архивов Яд Вашема... Сейчас листочками на этом дереве мои кровные родственники, их более ста, и их родственники, почти полторы тысячи человек! Конечно, мы живем, не зная друг друга, но какие-то ниточки из прошлого связуют нас, сплетая человечество в одно единое, и странно, что не дано нам жить в мире...

Мы приехали в Минск, наверно, под вечер.

Папа стоял на перроне один. Шел дождь, было сыро, холодно, дул ветер. Что-то необычное сразу бросалось в глаза. Вокруг было темно, и только невдалеке светились окна огромного дома. Между нами и этим домом чернели стены каких-то разрушенных построек.

Папа сказал мне, что светятся окна Дома Правительства, а все остальное—это разрушенные во время войны дома.

«Скоро все изменится!» -- бодро добавил мой оптимист-папа, увидев, что мы с мамой притихли и прижались друг к другу...

Уже в полной темноте мы подъехали к двухэтажному дому. У подъезда, несмотря на холодный дождь, возился какой-то мальчишка. Подошел, посмотрел на нас, молча схватил один из чемоданов и потащил в темноту. Папа взял второй, я—сумку с остатками еды, прихваченной в дорогу из Баку, мы поднялись по темной лестнице, повернули налево, прошли по длинному коридору—он потом, днем, оказался вовсе не длинным. Откуда-то доносились запахи пережаренной рыбы и керосина. Папа открыл дверь, мы вошли – опять же в темноте— в комнату, потом оказалось, что это была общая на пять семей кухня, повернули направо и вошли в нашу «квартиру».

« Ну, с прибытием!» -- наигранно-бодро сказал папа.

Он зажег спичку, потом керосиновую лампу -- сколько впоследствии раз я стоял в длиннющих очередях за керосином в лавку на улице Мясникова!— и мы увидели крохотную комнату -- шесть квадратных метров!— совершенно пустую, если не считать сложенных на полу папиных вещей. Увидел я и мальчишку — он был шустрый, худенький, -- так в мою жизнь вошел мой друг Леня Ледвич, с которым потом делились игры, учеба в одном классе, все находки и потери, годы – до самого отъезда его в Израиль через много—много лет, когда мы уже стали дедами... А сейчас нас соединяет телефон, редкие—по праздникам — звонки, воспоминания о былом. И неизменная дружба.

За окном светились окна Дома Правительства — весь остальной Минск утопал в темноте и дожде. Мама смотрела на все и плакала. Мальчик бросил мне: « Увидимся завтра! » -- и исчез. Папа что-то тихо объяснял нам, но я и не слушал: с испугом думал, как же мы будем размещаться тут втроем? Да и туалет оказался на улице, две деревянных кабинки, общих на весь наш большой барак. Темный и холодный.

Впрочем, все это мы увидели на следующий день: три деревянных туалета, ряд сараев, обрамляющих двор—нам тоже дали пол-сарая, вторую половину занимал сосед, небольшую очередь к туалету под дождем, несколько унылых домиков, спускающихся к большой улице, по которой ходили трамваи, — потом я узнал, что эта улица называется Мясникова, развалины, а за улицей на холме — большой серый Дом Правительства и рядом с ним — красный костел.

Папа сказал, что Женя работает в костеле около Дома Правительства, потому что там размещается киностудия — оказывается, дядя делал фильмы, был художником. Самого дядю мы увидели через несколько недель: Женя был на натуральных съемках какого-то кинофильма и появился только в конце октября.

Утром папа ушел на работу—в тот самый Дом Правительства, где располагалось тогда Министерство лесной промышленности. Мама начала приводить комнатуху в порядок. Она сказала, что нам надо сделать кровати и стол.

В сарае, который дали папе, нашлись неструганные доски и бруски. Гвозди притащил нам Леня, который пришел знакомиться поосновательней после школы — мне предстояло начать ходить в школу с опозданием. И вот мы с Леней стали помогать маме.

Работала мама быстро, словно всю жизнь была столяром. Сколотила крестовины, сделала настил – вот и готов «обеденный» стол. Так же быстро и ловко сделала два топчана – словом, к вечеру, к возвращению папы, наша шестиметровка была обставлена мебелью. , легко можно было занозить руки, но мама накрыла стол пестрой клеенкой, топчаны-- простынями, застланными сверху тонкими одеялами, печка был натоплена, стекла вымыты, мы с Ленькой—накормлены хлебом, супом и очень вкусной картошкой... Дождь все еще шумел, керосиновая лампа чадила, но жизнь в Минске начиналась...

Школа-четырёхлетка номер 16, в четвертый класс которой меня сначала определили, была на нашей улице Шорной и размещалась в маленьком трехэтажном особняке на углу с Обувной. Первым уроком в новой школе был белорусский язык, учительница приказала и мне писать диктант, как его писали все, но сделал я значительно больше ошибок, чем было слов в этом диктанте. Во-первых, не знал слов, во-вторых, не знал... букв. Оказалось, что «и», к примеру, пишется иначе.

Словом, этот год был для меня тяжелым именно из-за белорусской мовы — все остальное давалось мне легко. В этой школе я стал пионером, чем очень гордился, особенно, когда мама смогла сшить мне красивый новый галстук, а папа у какого-то друга достал красивый, со звездой, зажим для этого галстука. Завязывать галстук я так и не научился.

Начиная с пятого класса, я учился уже в двадцать шестой школе, в классе «А», школа была мужская, и, на мое счастье, с ребятами этого класса я проучился

до окончания школы и сохранил дружбу до сего дня, хотя многих из них уже нет...

Пришла ко мне из Минска фотокарточка: могила и памятник моего одноклассника и друга по всей доамериканской жизни Володи Китайчика. Прислала карточку его жена и наша подруга Юля, одноклассница моей жены Риты. И сразу вспомнилось начало шестидесятых, мы с Ритой уже женаты, дом открыт для всех, ежевечерне на столе стоит самовар и бутерброды. Мы были, наверно, единственной в то время женатой парой среди наших друзей, и наши холостые друзья приводили с собой своих подруг, а многие знакомились у нас в доме — своеобразном клубе, где было шумно, весело, дружно и мило для души. Как все это терпели родители жены — не знаю. К тому же брат Риты Гена был молод, кудряв, женолюбив, менял девушек ежемесячно, приставал к чужим девушкам, но был мил и интересен. Там у нас и познакомились Юля, Ритина одноклассница, с Володей. Оба были красивы, молоды, любовь вспыхнула мгновенно и уже через пару месяцев была свадьба. А потом появилась в положенный срок красавица — дочурка Мариночка.

Володя сидел в классе в соседнем ряду слева от меня. Он жил с мамой и сестрой Неллой, отец погиб на фронте, и тете Нине досталась жизнь нелегкая. Жили они около Юбилейной площади, за забором находилась Яма, где тогда еще не было ни памятника, ни знака — просто заросшая травой яма, где покоились евреи, расстрелянные в годы оккупации. Был Володя открыт, доверчив, красив, казался мне старше, чем я. Потом, позже, после школы, он попал в армию, но был комиссован по болезни. И поступил — что казалось тогда да и было потом, чудом для еврея,

в медицинский институт. Дело врачей жило и в пятидесятых, и живет по сей день... Во всяком случае, попасть в медицинский можно было разве только имея невероятный блат, или папу-профессора...

Выбрал Володя себе профессию редкую: стал хорошим врачом-фтизиатром, и был направлен в Желудок, Гродненской области. Судьбе было угодно в один из приездов его в Минск свести у нас дома на посиделках его с Юлей...

После женитьбы Володя вернулся в Минск и работал до дня своей мгновенной смерти в Новинках, в туберкулезной больнице. Когда его подводило сердце и он лежал в больнице, его украдкой возили на работу: больные верили ему, да и врачом он был отменным... Был абсолютно порядочным и добрым. Очень красиво пел. Перед нашим отъездом в Америку мы были у Юли и Володи, Мариночка играла на гитаре, а мы пели на прощание... Верили, что встретимся... А он умер как-то—при всех его болячках! — внезапно: в день проводов на пенсию пришел домой, рассказывал Юле о том, как все было тепло и – упал на кровать.

И теперь смотрю я на фотографию, где на красивом памятнике написаны его имя и фамилия – и не верю, что нет уже темноглазого, высокого, без единого седого волоса, улыбающегося Володи, Вовки, Вовчика...

О наших учителях вспоминаю я с любовью, уважением и стыдом – наверно, оттого, что многие проказы в нашем классе в школьные годы казались смешными и остроумными, а теперь кажутся жестокими и глупыми. Ведь почти все наши мужчины - учителя приходили в школу еще в гимнастерках, а женщины были одеты бедно и казались нам старыми

ужасно. Потом уже доходило до нас, что на их лицах вовсе не старость, а следы пережитого в годы войны.

Первой учительницей истории была у нас Ольга Аркадьевна Гольдберг, подвижная, хромая, со сморщенным, как печеное яблочко, личиком и тронутыми сединой волосами. К ней кто-то прилепил тут же кличку «Хромоногий Гефест» Трудно было ей держать класс в руках: с нами учились ребята—переростки, которые были в оккупации, нагляделись всякого, были на три-четыре года старше нас и задавали тон в классе. Правда, уже к седьмому классу они постепенно исчезли: ушли в ремесленные училища, кто-то попадал в тюрьму... Но в сорок восьмом-девятом именно они делали в школе, что заблагорассудится. Ольга Аркадьевна срывалась на крик, убегала в коридор, правда, быстро возвращалась и продолжала уроки по истории древнего мира, мне очень интересные. Мама рассказала мне как-то, что Ольга Аркадьевна была в гетто, потеряла всю семью, потом была в партизанском отряде и была ранена — отсюда и ее хромота. Когда нам построили новую четырехэтажную школу, она даже жила прямо в школе в маленькой комнатке — никого на свете у нее не было... Я рассказал обо всем этом нескольким друзьям, но ничего поделать мы не могли: командовали старшие...

Учились мы тогда в бараке в три смены. Трудно понять, почему младшие классы занимались в третью смену, но это было так. После школы мы с Леной должны были отшагать долгий путь до дома по черному городу, мимо развалин и темных, а оттого страшных, деревянных домов. На всем пути было два фонаря: один у булочной, где в витрине был огромный желтый картонный баранок, а хлебом и не

пахло: его еще долго получали по карточкам, второй же был у забора хлебозавода, откуда доносился запах хлеба. Этот второй фонарь поставлен был, чтобы не перебрасывали через забор ворованный хлеб, поэтому его систематически разбивали. Потом начиналась темнота, и мы, прижавшись друг к другу, пересекали Республиканскую и шли через всю нашу Шорную до дома. В темноте мерещились нам какие-то фигуры, воображение было подогрето услышанными от одноклассников рассказами о бандах, которые вчера кого-то убили, а позавчера — ограбили... Грабить у нас было нечего, но убитыми быть не хотелось.

Удивительно, что я непрерывно занят чем-то, как всю жизнь. Просто нет минуты свободной. Слово « надо » постоянно крутится в моей голове: надо сделать то, не успел доделать это, надо... надо...надо... Успеть забрать внука из садика. Окончить печатать стихи для журнала. Попасть на концерт. Договориться о встрече. И так далее, и тому подобное. Иногда я устаю от этого. Чаще – радуюсь: в моем возрасте быть занятым – важнее не бывает. А вот время воспоминаний наступает тогда, когда что-то болит или аритмия мучает. Почему? Наверно, потому что тогда вспоминаю о конечности бытия и хочется оставить детям силуэты прошлого – воскресить его никто не в силах...

Наша классная – Софья Ефимовна Бруднер, потом – Бржустовская, математичка, пришла к нам, когда мы были в пятом классе и вела наш класс до выпуска. Мы были ее первым, и, кажется, любимым выпускком. Строгая, требовательная, с орлиным взглядом. Класс был не из легких – энергия так и била, к тому же соблазнов и примеров было немало. Уйти всем классом на Тарзана, например, даже спустившись по

водосточной трубе... Снять дверь в класс и поставить ее на пол, чтобы при входе учителя упала она с грохотом и сорвала таким образом пол-урока... Залезть кому-нибудь из ребят в стенной шкаф и посреди урока что-либо там сотворить... Когда мы учились в третью смену, еще до нового здания, и свет включался простым соединением проводов, так как не было выключателей, многие в классе запасались тряпками и выключали свет метким попаданием в место соединения... Или еще лучше: на перемене выкручивались лампочки, под цоколи закладывалась мокрая бумага. Во время урока уже высохшая бумага становилась, как и положена, изолятором – и свет постепенно отключался...

«Милые шалости!» А было их много больше... И все это – на голову нашей классной.

Но было и другое. Дружба. Сильное желание знать. Знать побольше. Непременно разобраться самому и помочь кому-то. Жадное чтение—днем и ночью – даже на подоконнике в лунную ночь... И – невольное подчинение Софье Ефимовне, волевой, умной, сильной. Каким-то образом ей это удавалось.

И сейчас, когда Софья Ефимовна живет в Израиле, и я ей звоню из американской глубинки, у меня тоже самое чувство привязанности и благодарности, как и тогда, пятьдесят лет назад. И только сейчас я понимаю, что была она тогда еще совсем молодой, познавшей немало бед в войну, что ухитрялась растить двух сыновей, не бросая фактически нас, что решала свои нелегкие семейные проблемы и наши классные, наверно, за счет сна – как же иначе... Она потом и завучем была, а нас всегда помнит и узнает мгновенно по первому же «Алло!»...

Однажды на вечере встречи, лет через двадцать пять после выпуска, попросил я ее вспомнить всех в нашем

классе, и она без запинки перечислила всех от А до Я учеников нашего класса... Вот так!

Часто снятся мне странные сны с перепутанными странами, людьми, которые никогда между собой не встречались, событиями, которых никогда не было. Сейчас уже половина этих людей – за чертой неведомого. А вот сны оживляют их, я слышу их голоса, заглядываю в их глаза, о чем-то с ними говорю. Кто знает, откуда берутся эти сны? Может, из детской моей мечты – тогда я боялся атомной войны, о своих страхах никому не рассказывал, но прятался перед сном с головою под одеяло и воображал себя на острове, где построено укрытие от атомной бомбы, куда я попал со всеми близкими, а там есть все книги, фильмы, которые я любил, и – главное! – общение со всеми, кто мне были дороги без которых жизнь была бы для меня, мальчишки, невозможна...

Так и сейчас, возможно, сводит мой беспокойный сон всех дорогих мне людей, оживляет их и знакомит друг с другом...

Учительница русского языка, « русалка », Софья Михайловна Политыко, преподавала у нас также и белорусский язык. Я читал тогда запоем, без разбора, увлекаясь, кажется, даже запахом книги, прикосновениями к ней. Зачитанные, рваные книги я брал в единственной тогда детской библиотеке им. Островского, которая располагалась близко от нашей школы.

Софья Михайловна, нервная, с блестящими глазами, порывистыми движениями и громким голосом открывала мне мир классики – русской и белорусской, и, кажется, незаметно привела мое

чтение в систему: стал я выбирать, что читать. Мне кажется, это и есть главное, чему должна научить школа: вкус, выбор интересного. То, чему могут научить только талантливые учителя.

Несколько раз на уроки Софья Михайловна приводила своего мужа – Дмитрия Антоновича, который блестяще читал нам и рассказывал. Я не могу до сих пор забыть его чтения Маяковского, в том числе и неопубликованных тогда стихов, и чтения белорусских поэтов. Белорусский язык в устах чтеца становился нежным, мягким, глубоко лирическим – правда, я этого слова еще и не знал...

Обе Софьи вели наш класс до выпуска, обе на короткое время уходили в декрет – родили по два сына, обе оставались мною любимы всегда.

Когда умерла Софья Михайловна и лежала, хрупкая, маленькая, в платочке – вдруг проступили в ней резко еврейские черты, которые как-то не замечались мною раньше. Мои школьные сочинения она долгие годы читала в классе, книгами гордилась, благодарила за них. А я всегда благодарен ей за уроки, которые не забываются и сегодня.

Директором двадцать шестой школы все годы моей учебы в ней был Андрей Адамович Сергейчик, крупный, с мясистыми щеками, крутолобый мужчина, очень интересно и своеобразно к нам относившийся. В силу моего компанейского и активного характера я был комсоргом школы и встречался с ним в разных обстоятельствах.

Помню, например, как в конце сороковых годов, когда мы еще учились в бараке, но уже началось строительство рядом каменного четырехэтажного здания новой школы, казавшейся нам огромным,

построили для хранения стройматериалов сарай с черепичной крышей.

И вот кто-то бросил камень и разбил черепицу. Нас всех в середине урока выстроили во дворе, где шел снег и было жутко холодно. Андрей Адамович бегал в одной гимнастерке перед шеренгой ничего не понимающих пятиклассников и кричал командирским голосом:

--Вредители! Шпионы американские! Я вас всех выведу на чистую воду!

Но помню и другое: пятьдесят третий год, уже арестованы врачи, Сталин еще жив-здоров. Вдруг меня посередине урока вызывают в кабинет директора. В кабинете – мой отец. Секретарша на обеде.

Андрей Адамович запирает приемную, запирает на ключ кабинет, и полупшепотом говорит нам следующее:

--Я очень хочу Борису добра. Время сами видите какое. Боря, ты должен бросить все, отдать всего себя учебе, тебе надо обязательно получить медаль, иначе не поступишь никуда... Для этого я и попросил отца зайти ко мне.

Этого я не забуду никогда: уже в девятом классе мы знали, что вокруг происходит. И еще не забуду, что никто в нашем классе не опустил до оскорбления евреев -- и вся долгая моя жизнь наполнена любовью к моим одноклассникам. Правда, среди учителей попадались всякие. Например, учитель белорусского языка вдруг начал ставить мне и другим ребятам-евреям тройки. С ним училась в аспирантуре моя тетушка, которая спросила как-то:

--Что там происходит с моим племянником?

Ответ был честным:

--Так надо...

Как только дело врачей лопнуло, у нас опять стали нормальные отметки.

Когда умер Сталин и об этом рано утром передали по радио, я, как праведный комсомольский секретарь, побежал на улицу Мебельную в райком комсомола, членом которого был. И был потрясен: в райкоме никого, висит замок!

Тогда я помчался в школу. На ступенях сидел Андрей Адамович – и плакал. Фронтовик, знающий много больше меня о довоенных, военных и послевоенных событиях, плакал, приговаривая, что некому и заменить ушедшего...

Потом, конечно, был митинг, мы стояли в длиннющей очереди к памятнику, который был на Центральной площади, и стояли с нами старики и молодые, и тоже плакали.

Мой тесть, доцент Технологического института, благообразный, очень веселый и певучий в компаниях, рассказывал мне как-то о том, как встретил на улице взволнованного Заира Исаковича Азгура, знаменитого скульптора, который с волнением сообщил, что только что видел, как на грузовике увозили « знакомые ноги » -- это на Центральной площади снимали скульптуру Сталина, автором которой был Азгур. Площадь была оцеплена несколько дней, ходили слухи, что приходится взрывать пьедестал памятника – все делалось на века. А потом, после 20 съезда, все мы специально ходили по месту, где только что стоял тиран — тогда площадь была замощена брусчаткой, и в этом месте уложенная наспех брусчатка горбилась – и вспоминали те холодные мартовские дни и длиннющие очереди людей к памятнику.

Что удивляться? Есть в России странная, почти патологическая любовь к садомазохизму и сегодня там также любят и жаждут сильноруких – либералы и демократы там вроде бы ни к чему. А Белоруссия моя любимая—все же родная сестричка той же России.

Теперь, прожив многие годы, я думаю о том, как же надо было умело и тонко внушать людям необходимость деспота и любовь к нему!

В те же мартовские дни пятьдесят наш сосед, обожаемый мною старик Максим Исаакович Сульский, маленький, лысый, очень культурный человек, отсидевший в лагерях по делу вредителей полтора десятилетия, зашел к нам и поздравил со смертью убийцы и палача. Он добавил, что теперь все пойдет по-другому. И папа... его выгнал. Мой папа, никогда не повышавший голоса, интеллигентнейший и умнейший человек, выгнал того, о ком мне всегда говорил восхищенно... Он просто боялся за меня и семью: еще сидели врачи, обвиненные в убийстве, еще не было и намека на какие-то изменения, еще не погибли в Москве на похоронах палача сотни задавленных людей. А я запомнил слова Максима Исааковича на всю жизнь. Папа ведь не знал, как много мне рассказывал сосед и раньше, полунамеками, полуфразами. Ведь жизнь Максима Исааковича – тоже легенда.

Вот что я от Максима Исаковича услышал, очень в приблизительном и коротком изложении, потому что в свой дневник из осторожности и лени, свойственной мне с юности, я ничего не записывал.

Родился М.И. в беднейшей семье и рос в нищете, как миллионы еврейских мальчиков и девочек. И, как большинство из них, мечтал из нищеты вырваться.

Рядом с ними жила очень богатая семья, где росла некрасивая невеста. Девушку надо было выдать замуж. И вот богатые родители договорились с бедными, что они дадут возможность молодому человеку, еще юноше, получить заграничное образование. При условии, что Максим потом, вернувшись, жениться на их дочери. Стукнули по рукам.

И Максим уехал в Париж, учился в Сорбонне, бегал слушать Жореса, ел дешевую зайчатину – мясо кошек, как и все студенты, изучил французский язык. Образование продолжил в Англии и Германии. Вернулся образованным полиглотом, стал в последствии выдающимся инженером, стоил многие предприятия в Белоруссии, уже в советские годы. Конечно же, слово сдержал, женился. Дочь его – пианистка Соня Сульская, как и отец, наша соседка, была аккомпаниатором у многих выдающихся белорусских певцов того послевоенного времени. Поэтому первые мои познания в опере я получил, не выходя из дома: за стеной пели певцы нашего оперного театра и солисты эстрады, которым Соня аккомпанировала.

Когда только начинались репрессии, по делу инженеров—вредителей, ушел в лагеря и Максим Исаакович, был там и всю войну. Жена погибла в гетто, Сонечка, на счастье, уцелела.

Сначала Сульские жили в соседней с нашей комнатке, потом переселились в однокомнатную, но отдельную квартиру в нашем же бараке, куда я после школы бегал за книгами, поговорить по-французски с М.И. и послушать его рассказы. Мне кажется, он меня

любил, во всяком случае, доброта его по отношению ко мне была удивительной.

Мы с Леней несколько лет бесконечно играли в войну, используя как фабулу для игр прочитанное или услышанное – «Молодую гвардию», «Как закалялась сталь» или «Четвертую высоту». Чтобы не было обидно, в игре исполняли мы и роли благородных героев, и негодяев поочередно. Но все же деление было: Олегом Кошевым всегда был я, Сережкой Тюлениным – Леня. Играли зимой или у нас, особенно когда нам дали вторую крохотную комнатку, где до этого жили Сульские, или на огромной холодной кухне у Лени. Летом же нам было уютно и хорошо в сарае у Лени, где была сделана широкая полка — там все было таинственно, шуршали мыши, за стеной хрюкал соседский кабан Борька, огромный и постоянно лежащий в грязи. Кабана растил сосед по бараку, тощий и суровый человек – его фамилию я не помню. Зато помню, как прибежал Ленька и выпалил:

--Борька, идем посмотреть: забивают Борьку...

Я поохотал. Идти боялся. Но было любопытно – никогда до этого не видел я ничего такого. Зрелище оказалось ужасным: Борьке загнали в спину шило, которое до его сердца, видимо, не достало, и он с торчащим шилом спокойно лежал и повизгивал. Конца его мучений я не видел – убежал. Вечером весь коридор благоухал запахами мяса – жаренного, паренного, вареного. Мы облизывались, но, увы, званы на угощение не были.

Кстати, был еще один опыт, не забытый до сих пор. Однажды мама купила на Юбилейном рынке петуха – сестренка болела и ей надо было дать бульон. Функции резника выполнял у нас Мика – пожилой

печник, единственный пьющий на улице Шорной человек – это было время, когда пьяниц знали все, как теперь знают редких трезвенников. А мне поручили пойти с ним во двор и принести зарезанного петуха. Когда Мика легко отсек петуху голову, он, безголовый, побежал по земле, а я бросился от него в сторону в ужасе.

Мика хохотал:

– Слаб ты, жидок, оказался!

Он же сам и отнес маме, которую очень уважал за умелые руки, петуха: я убежал значительно дальше несчастной обезглавленной птицы...

Встретили семьей Новый год, 2006, встретили мирно и дружно. Бегали по комнате два внука, Арон и Дэвид, и было смешно смотреть, как тянется годовалый Дэвид к трехлетнему Арону, а тот гордо убегает от карапуза... Старшая внучка привела своего американского бойфренда, паренька – студента с небольшой смешной бородкой. Прелестная Анечка, нежная и изящная, раздавала подарки. Леня и я были с шинами на левых ногах — Леня неудачно приземлился на горке, я растянул ногу. За окном оттепель съедала остатки снега...

А в Израиле мальчик—офицер погиб, задержав террориста, который шел к автобусу с детьми. А в Ираке смертники взорвали одиннадцать заминированных машин и гибли при этом иракцы. А в Германии раскрыли группу, которая готовила теракт. А Россия в разы увеличивала цены на газ для непокорных Украины, Грузии, Молдавии... И ласкала покорных...А Иран объявил об обогащении урана... Мир сошел с ума.

На Таймс-сквер толпы ликовали, ожидая падения шара. Миллионы людей, слава Богу, еще жили спокойно и не думали о войне, которая уже охватила

планету – о страшной, без законов, звериной, как все войны, но еще и окрашенной в зеленые цвета фанатизма религиозного... Именем Бога творили зло, Богом – по определению! – неприемлемое...

Новый Год пришел. И должно мне быть в нем семьдесят, во что не верится: так еще молодо хочется жить, влюбляться, поездить и походить, даже с шиной на ноге...

Вчера вернулся из поездки в Чикаго, где четыре вечера подряд выступал со стихами. Все бы хорошо – да вот гложет меня одна и та же печаль: молодые не приходят на вечера, они уже живут в другом мире, в другом языке. И так должно быть. Значит, когда я написал о своих книгах, которые не смогут читать мои внуки, я был прав.

Съездили мы в музей искусств Милуоки, построенный Калатравой. Чайкоподобное здание с подвижными гигантскими крыльями готовилось взлететь над Мичиганом. Внутри было полно света, создавалась полная иллюзия неограниченной свободы и устремленности в небо. Здорово! Содержание музея было посредственным, а вот здание...

Вспомнилась Валенсия и работа великого испанца там – казалось, он устремляет время вперед, как всадник устремляет вперед лошадь... И еще подумалось, что испанцы -архитекторы и художники-сполна отыгрались за долгие века отставания, инквизиции, полного отсутствия свободы творчества. Сады и соборы Гауди. Здания Калатравы. Картины Гойи и Эль Греко, Дали и Пикассо...

Позвонила Валюша Жоголева. Мы с ней многие десятилетия проработали вместе в конструкторском бюро. Сейчас она приехала к дочке в Нью Джерси

погостить. Рассказала о том, что ушли из жизни молодыми мои коллеги Боря Поляков, Юра Толмач, Володя Иванов. Никто из них никогда не бюллетенил, были они работающими и толковыми. Что же происходит в Минске, если такие дубы валяются один за одним?... Чернобыль?... Стрессы повседневности?... А мои одноклассники, а поэты и писатели, а друзья по походам?... Когда мы побывали в Минске, один из дней мы отдали посещению Северного кладбища—ходили с вдовами по свежим могилам друзей-товарищей...

Первый пасхальный седер мы провели у Марочки. Собрались семьей. Это уже стало традицией. Я вспомнил, как мы с мамой делали в Минске в сорок седьмом-пятидесятом мацу. Чтобы соседи не почувствовали запаха, несмотря на холода, открывали окно. Я раскатывал бельевой скалкой тесто в тонкие листы, потом специальным зубчатым колесиком делал дырочки, мама ловко подхватывала листы, укладывала на противень и ставила в печку. Маца получалась чуть подгоревшая, серая. Вкуснющая. Но давали ее не мне – с оказией отправляли дедушке в Гомель. Ведь дедушка скорее бы умер с голода, чем согласился есть хлеб в Пасху. Мне доставались только обломки, подгоревшие, пахнущие дымком, но и это было – праздником! А соседей боялись, потому что любой донос стоил бы папе и маме дорого... Сколько людей тогда пострадало за приверженность религии отцов.

Родилась внучка, и дали ей сын и невестка хорошее имя Сарита. Утром поехали мы в роддом — не принимает душа сухое название госпиталь! — и увидели маленькое чудо, наше новое богатство, пятое наше продолжение на земле. И вспомнили Ритину

маму — мудрую и сдержанную Сарру Яковлевну, с которой многие годы жили под одной крышей, и вторую—Сарру Давыдовну, Машину, невестки, бабушку—аристократически, по-питерски, красивую, в шляпке с вуалью, гостеприимную, а потом—старенькую и слабую. За год до отъезда в Америку, в 1995, были мы в Питере, и она села к старому роялю и сыграла нам. Ее старые пальцы неожиданно легко скользили по клавишам, и в ее красивом профиле хорошо проглядывалась девочка-гимназистка, многие десятилетия тому назад пленявшая, конечно, многих.

Расти, моя Сариточка, совмести в себе все доброе от бабушек Сарр, которые тебя не увидели. Я рад, что вернулись в нашу семью имена, забытые давно в России: Арон, Давид, Сарра, Ребекка...

Вчера, несмотря на боль в ноге, поехал вместе с Ритой и нашими приятелями на Серебряное озеро. Жара невыносимая, а там все же у воды ветерок. Всемирное потепление природы и всемирное похолодание душ... В Израиле опять война, и как мало людей понимают, что на Израиле новое вселенское зло—мусульманский экстремизм проверяет свои зубы. Слава Богу, что хоть наше правительство это понимает, а либералы, уже позабывшие Нью Йорк 2001 года, готовы сожрать Израиль...

Вдруг отчего-то вспомнилась одна история из далекого прошлого. Я ведь очень любил Среднюю Азию, где было удивительное сочетание красок гор и красок старинных мечетей, куполов Гур Эмира и Регистана в Самарканде, желто-выжженных стен старой Бухары, фантастического мавзолея Саманидов и грозных стен Арка с его жуткой тюрьмой - зинданом, краски Хивы и Коканда... Я чувствовал эту

красоту и с горечью, глядя на жалкие дома обитателей, думал, что развитие этого края застыло тогда—в одиннадцатом - четырнадцатом веках, потому что ничего нового и интересного там после не построено... Легенды прошлого волновали меня, я водил группу мою по городам и был подкован куда лучше любого местного экскурсовода.

А история эта произошла в 1967 году на Фанских горах. Тогда эти удивительные горы не были так известны и захожены, как в семидесятых - восьмидесятых. Мы за несколько недель похода встретили только группу эстонских туристов на сказочных цветных Аллоудинских озерах. И вот в конце изнурительного похода, преодолев все задуманное, спускаемся мы к селению Рудаки и под вечер попадаем в рай: чайхана, лепешки, зеленый чай, мужчины в чалмах рассматривают нас с любопытством, а Бобо—старый чайханщик подходит к нам и спрашивает, где были и что видели, почему такие усталые. Узнав, что мы прошли, качает головой и жалеет нас: « Без ишаков шли... сами несли все... у нас так не ходят» Впрочем, Бобо знает, что через перевалы ВАА, Казнок, Чимтаргу с ишаком не пройдешь.

Наш автобус на Педжикент уходит только завтра утром, и я робко спрашиваю, где мы можем переночевать. Бобо вывел нас в сад за чайханой с каким-то сооружением в глубине и широким жестом показал на деревья, усыпанные плодами, помидоры на кустах чуть в стороне: « Все это — ваше, будьте гостями!»

После двух недель на тушонке да сухарях просить долго не надо: мы растелили спальные на траве, достали котелки, быстро набрали яблок, груш, абрикосов и персиков, помидоров, девочки нарезали их тут же, добавили специи, купили в чайхане

свежие, еще горячие лепешки, пахучее кунжутное масло, взяли пиалы, чайники – и два часа, почти до темноты, наслаждались едой, чаем, воспоминаниями о пройденном, смешных и не очень случаях в пути— словом, полная расслабуха...

И тут появился гость: по-городскому одетый худощавый паренек по имени Иссаметдин – так он представился. Был он в нейлоновой белоснежной рубашке, а тогда нейлон только появился и был в моде.

Паренек постоял, потом спросил, кто старший в группе. Подошел ко мне и сказал торжественно: «Мой отец приглашает тебя в гости...»

Идти никуда не хотелось, да и одному вечером в огромном незнакомом кишлаке тем более. С другой стороны, интересно побывать у местных жителей в гостях, посмотреть их обычаи, дома... Я сказал Иссаметдину, что у нас еще два начальника — и мы пошли с ним втроем: Юра Тебиев—инструктор туризма, обаятельный осетин из Орджоникидзе, Арнис Алкснис – ученый-химик из Риги, и я. По дороге Иссаметдин рассказал, что он учится в Душанбе на историческом факультете, ему девятнадцать лет, он женат и скоро будет отцом, Его отец—председатель здешнего колхоза, а дедушка — главный человек в Рудаки, мулла...

Дом, куда мы зашли, был выстроен как крепость: стены на улицу—без окон, а внутри—прямоугольный двор, через который со звонов тек с гор холодный и чистый ручей. С одной стороны была мужская часть дома, там в комнате для гостей нас и принимали: растелили около ручья ковры, принесли подушки— это делали младшие братья Иссаметдина, зеленый чай, печенье, лепешки... Где-то на женской половине готовили для нас еду, смотреть на которую после нашего пиршества в саду не хотелось... Иссаметдин

пояснил, что есть в доме и хозяйские постройки, и постройки для скота, но сейчас овцы и бараны пасутся в горах. Он с гордостью сказал, что у них баранов только больше ста, а еще и коров много, и коз. И пасутся они вместе с колхозными...

Разговор был вялый, неинтересный. Но вот вошел в комнату отец Иссы, человек лет сорока — и все преобразилось. Он пожал нам руку, хлопнул в ладоши—и мальчики поставили перед нами плов с огромными кусками жирной баранины, очаровательно пахнущий суп с лапшой и мясом, название забылось, лепешки... Отец тщательно следил, чтобы мы ели побольше, ссылки на сытость в расчет не брались... Забегая вперед, скажу, что часа через три мы все еле добежали по дороге к себе до заветного места...

Тут появился и мулла — красивый, напомнивший мне моего дедушку, старик с окладистой бородой, грязнущими руками — может, они и были не грязными, но выглядели черными. Он поздоровался с нами и больше не произнес ни слова — только слушал. Сел он между мной и отцом Иссаметдина.

Я был тогда очень любознательный и задавал вопрос за вопросом: что за сооружение в саду, сколько жен разрешается иметь, сколько детей в семьях и прочее...

И вот что рассказал нам тогда председатель колхоза, отец Иссаметдина:

--Незадолго до войны в Рудаки приехал из Москвы ученый Герасимов, который умел по черепу восстановить лицо человека. Тогда еще теперешний мулла был председателем колхоза и коммунистом, а теперешний председатель колхоза был мальчиком, бегал за Герасимовым и все слушал и запоминал...

А приехал Герасимов по важному государственному делу. Очень важно было доказать миру, что царь поэтов Аль Рудаки был родом именно

отсюда, из этих мест. А значит, советский Таджикистан имеет своего великого поэта, на которого претендовали и Иран, и Афганистан...

По словам хозяина, о Рудаки было известно немного: что дожил до глубокой старости, что был хром, и последние двадцать лет жизни был слеп.

Писал поэт на фарси, жил и в Иране, и в Афганистане, отчего на него претендуют и те, и другие. Вот и поставили задачу Герасимову доказать, что Советский Таджикистан по праву может гордиться своим великим поэтом.

Во времена аль Рудаки (да и до сих пор) хоронили покойников по зороастрийским обычаям. Зороастрийцы убеждены, что все грехи человека в его мягких тканях, а все его достоинства—в костях, в твердых тканях. Покойника выносили за кишлак, усаживали на камнях, шакалы обедали все мягкие ткани тела, а потом кости и череп помещали в глиняные кувшины, относили в определенное место и хоронили.

Вот эти места и стали вскрывать. Через какое-то время нашли останки человека, которые соответствовали всему известному о поэте: ни единого зуба не было на черепе, коленная чашечка была сильно повреждена, а шейные позвонки срослись, как это бывает у слепых людей—оказывается, слепой поворачивает на зов не голову, как это делают зрячие, а весь торс, голова его неподвижна относительно тела и позвонки срастаются...

Вот эти останки и объявили останками аль Рудаки, поместили в саду, где построили мавзолей, по черепу Герасимов сделал портрет поэта...

История была очень интересной.

Как и все другие, мулла оказался чуть ли не самым старым членом партии в районе, у Иссаметдина уже

была уже одна жена. И тут выяснилось, что нас пригласили не случайно. Иссаметдину понравилась Оленька Чихачева, девушка-москвичка из нашей группы, худенькая и невысокая. Вот нас, как старших в группе, и пригласили. Был предложен нам и калым. Все разговоры, что это не по закону, что у Оли есть родители, что у нас не принято женить девушку против ее воли, и т.д. и т.д. были бесполезны. И тут выручил Юра, знающий обычаи горцев Кавказа. Он просто резко поднял цену, чуть ли не в десять раз. Торг принял спокойный характер. Девушка была и худа, и мала ростом, таких денег здесь не дают и за богатую красивую полную невесту... Мы так и не договорились. Расстались по-дружески, поздно ночью явились в сад к спящей группе, разбудили Олю, сообщили, что она продана...

Рано утром мы уезжали автобусом на Педжикент. Нас пришли провожать, как друзей, и Иссаметдин, и его отец... В дороге мы ели теплые лепешки, принесенные ими, абрикосы, и хохоча, рассказывали нашим ребятам о несостоявшейся сделке. Юра, правда, сказал, что на Кавказе с нами бы и не разговаривали — украли бы невесту, и дело с концом. Цивилизация дошла все же и до Рудаки.

Потом мы еще не раз были в чайхане у Бобо, начиная поход по Фанским любимым горам, где Юра Визбор оставил свое сердце, а мы, каждый, по частице души... Мы пили чай в чайхане у постаревшего Бобо, разговаривали с ним, он уже знал нас по именам, но никогда больше не видели ни Иссаметдина в нейлоновой модной рубашке, ни его отца, ни муллу...

Мне всегда было жаль тех, кто не был в горах. Ни на Рице, ни в Красной Поляне, ни в других прославленных туристскими агентствами местах нельзя почувствовать удивительный аромат гор, их

грозную мощь и сладкий озоновый запах. Нельзя осознать запахи альпийского луга и вечного льда, не добравшись до них – пешком, не спеша, с рюкзаком за спиной, с глазами, залитыми потом, в штормовке, продуваемой перевальным ветром. Что может быть слаще горького дымка костерка под скалой, рядом со звездами и даже посреди звезд — ведь на больших высотах так и кажется, что звезды окружают тебя, морзят тебе, а луна, зацепившаяся за острый уступ скалы или катающаяся по голубому льду, сейчас скатится к нам и уляжется рядышком с костром. И, кроме того, все самое-самое горы прячут, как правило, за высокими перевалами, в труднодоступных местах. И только выложившись можно дошагать до этих кладов.

Так упрятали Фанские горы за высокими перевалами Аллоудин и Казнок свое удивительное сокровище—Аллоудинские озера. Я уже столько перевидал озер на Кавказе и Памире, Тянь-Шане и в горах Западной Канады, в Колорадо и на Кольском. Но таких, как Аллоудинские, не нашел нигде. Не забывается, как вдруг с высоты перевала открылись внизу озера, играющие яркими цветами радуги, причем цвета эти не просто лежат на воде—нет, они плывут, меняются, образуют неслышимую музыку, захватывают душу и сердце, подчиняют всего тебя своей цветовой музыке. Вот бы побывал тут Скрябин с его идеей сочетания цвета и музыки!

В далеком 1967 году на Аллоудинах не было никого, кроме нашей небольшой группы. Мы обнялись, стали на берегу большого озера, которое даже при свете луны играло красками, и пели вихаревскую « Я бы сказал тебе много хорошего в ясную лунную ночь...» Эхо отражалось от скальных

и ледовых стен, возвращалось к нам и помогало побороть чудовищную усталость.

Потом мы много раз были на Фанах и на озерах, там было уже полно народу, арча погибала, и все равно— озера оставались такими же и неизменно через несколько лет тянули к себе опять и опять... В 1993 году, уже зная о предстоящем отъезде сыновей в Америку, я провел группу по Фанам и мы опять были одни на озерах. На юге, за Зеравшанским хребтом, шла война, туристы боялись приезжать сюда, мы были одни в горах и городах, на рынках нас даже бесплатно угощали дынями и арбузами, виноградом и персиками, было сладко и горько... Я вспоминал первый поход уже далекого 1967 года и первое стихотворение, как-то передающее чувство жалости к тем, кто в горы не ходит. И желание поделиться с ними...

АЛЛОУДИНСКИЕ ОЗЕРА

Рассвет уже румянил горы,
когда впервые с высоты
я вдруг увидел, как цветы,
Аллоудинские озера.

Жаль, что отсутствуют слова,
в которых оживают краски...
Менялся синий цвет на красный,
и желтый проступал едва.

И мы внезапно онемели,
хоть много видели чудес.
Казалось, радуги с небес
на эту красоту слетели.

Хотелось мне в ладони взять

Аллоудинские озера,
нести к друзьям их через горы—
и ничего не расплескать.

...Чтобы там ни говорили, а умный в горы ходит!

...Сегодня мы в парке у быстрой реки Хьюрон должны отпраздновать день рождения Элика: ему исполнилось четыре года. Вчера по телефону он спел нам с Ритой две песенки: « А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер...» и вторую на английском языке. Мы таяли от удовольствия, слушая его пение. Три наших малыша – Элик-Арон, Дэвид и Сариточка – вместе с уже совсем взрослой Юлей и почти взрослой Анечкой – занимают все больше места в наших душах.

В шестидесятых-семидесятых годах я был членом белорусской делегации, которая участвовала во Всесоюзных слетах участников походов по местам боевой, революционной и трудовой славы советского народа. Это были напыщенные, громкие, дорогостоящие официальные мероприятия под эгидой комсомола. В принципе, бесполезные. Точнее, полезные для участников.

Участвовал в качестве поэта и даже получал красивые медали. Но, главное, конечно же – познакомился с бардами, чьим творчеством тогда увлекались, кажется, все, и повидал многих интересных людей.

Я вспоминаю, например, рассказы летчика Мосолова – испытателя, Героя Советского Союза, ни разу не оставившего свой самолет, собранного, по его словам, заново и не раз врачами. Красивый, крупный, даже мощный, он посмотрел почему-то на меня и негромко

добавил: «Если бы увидели меня в баньке — увидели бы, из чего я собран...»

В засушливое лето в болотах под Минском были найдены останки солдат дивизии, задержавшей фашистов в сорок первом в районе Смолевич. На одном из тел было найдено и знамя дивизии, которая долго была в числе незаслуженно забытых. И в музее белорусской делегации старый уже маршал Василий Чуйков плакал над фотографиями останков и над подгнившим знаменем пропавшей дивизии...

Это невозможно, конечно, забыть. Я смотрел на маршала и думал о папе, который воевал под его началом в Сталинграде и которого маршал, конечно, не знал...

Маленького росточка, живая и непоседливая, совсем не похожая на героиню, танкистка Марина Чечнева весело и лихо рассказывала о своих подругах, с которыми воевала, мало — о себе, а потом рассказывала у костра сидящим рядышком анекдоты, используя всю ненормативную лексику, которая странным образом шла ей...

Валентина Терешкова — высокая, худенькая... Герман Титов с речью неожиданно интеллигентной, которую нечасто встретишь у военных... Алексей Стаханов с его грубым, высеченным топором лицом, тяжелой речью и еще более тяжелыми кулаками, нет, кулачищами...

И там же, у костров — стихи и песни. Еще кучерявый Саша Городницкий, Валик Вихорев, Арик Крупп.

И тут же вспоминается мне Саша Чуланов, белокурый, нарочито матерящийся, с обезьянкой на плече. Саша вел на телевидении передачу «Ветер странствий», а все свободное время отдавал тогда незаслуженно гонимой авторской песне. Именно он был душой первого в Минске концерта авторской песни в Университете, в битком набитом зале, где те,

кто в зал не попал, заняли весь двор, а на окнах были установлены динамики.

А со сцены пели нам молоденькие совсем Ада Якушева и Юра Визбор, Арик Крупп, Саша Городницкий, Женя Клячкин, Валик Вихарев, Ляля Фрайтер и Борис Рысьев—и что пели!—«Бабий яр»!, и многие другие, кто потом прославился или был забыт. И зал пел с ними, и была атмосфера фронды: власть не любит вас, а мы – любим, знаем и поем.

Потом Саша привел к нам на «прокорм-обед» Городницкого и Вихарева, и мы славно болтали то, что можно, и что нельзя — тоже. У меня вышла тогда первая книга стихов «Восхождение», голова кружилась от счастья и ожиданий.

Саша Чуланов имел массу неприятностей от руководства, но оставался все тем же милым матерщинником, добрым товарищем.

Позже, в годы перестройки, Саша был убит в своей квартире. Говорили, что он начал копать материалы, связанные с мафией... Его имя было в списке многих честных журналистов, погибших тогда, и потом забытых ...

С его легкой руки я был несколько раз в жюри разных конкурсов бардовской песни – и было это всегда интересно, вдохновляло и стало в нашем доме атмосферой. Дети пели бардовские песни, и поют эти песни до сих пор с любовью. И внучки уже здесь, в Америке, напевают изредка те же мелодии...

С вечера мы с Леней и моим двоюродным братом Еликом занимаем очередь у хлебного магазина на углу Обувной и Мясникова: завтра будет мука по карточкам к Октябрьским праздникам, ее всем не хватит... Нас трое, нам не скучно. Стоим, болтаем о чем-то. На руке у каждого написан номер очереди, но уйти нельзя: по опыту знаем, что не пустят обратно.

Сидеть негде: дождит, холодновато, поэтому стоим и рассказываем друг другу истории, реальные и прочитанные. Когда в восемь утра магазин открывается, возникает давка. Мы крепко держимся за руки, мы уже шестиклассники, нас не собьешь, разве что чуть сдвинут. На номера никто не смотрит. Удача! Пробились к прилавку и получили по пакету муки. Спрятали пакеты под пальтишки, чтобы не промокли и не выхватили по дороге, и — домой. Мама обеспокоенно встречает нас с Еликом. И облегченно вздыхает: живые и — с мукой! С двумя килограммами... Потом начинает плакать: и когда уже жизнь наладится? А жизнь налаженная есть уже и в Минске: напротив Дома Правительства в ныне снесенном доме, находился магазин, где все было на витринах: мы туда забегали и видели икру в баночках, колбасы разные, масло и сыр, и даже белый хлеб. И видели людей, которые там покупали все это. Нас обычно быстро выгоняли из магазина — это не для нас, сопляков, а для...

Впрочем, для кого существует этот магазин, мы догадывались, но вслух не говорили: родители уже научили об этом никому и нигде не говорить... Вот у нас на Шорной, например, есть дом с зеленым забором, там живет высокий начальник Абрасимов, и по грязной улице провели к этому дому узкую асфальтированную дорогу, стоит у высоких ворот топтун в форме, а когда в доме готовят обед — по улице такой запах, что хоть не выходи. И две дочки этого начальника приезжают из школы на машине...

Зато, когда мы весело несемся на санках с горы по Обувной улице, им, небось, завидно из окон на нас смотреть! Так что и нам хорошо...

В Севилье, в отеле за мостом через тихий Гвадалквивир, который отказывался шуметь и

греметь, старый портье спросил у меня, как я стал американцем, если говорю по-русски. Выслушав ответ, с грустью сказал: « Я так и думал... А мои предки остались здесь...»

--Испания - прекрасная страна,-- сказал я.

--Йес. Спэйн ис бьютифал...-- подтвердил портье.— Но предков моих иначе, как свиньями, никто здесь не называл...

Вот так я узнал, что означает слово « мараны», а заодно и то, почему так много в Испании лиц, похожих на моих родных и знакомых из Белоруссии, Израиля, Америки...

А заодно понял, почему Испания так спешно и предательски вывела войска из Ирака после взрывов электричек, организованных исламистами: она давно уже сдалась им, найдя утешение в изгнании и изнасиловании своих беззащитных земляков, сжигая их на кострах и обрекая себя саму на слабость.

Мама моя имела славную древнюю фамилию Чунц, на самом деле – Цунц. В еврейской энциклопедии я нашел больше десяти Цунцев—раввинов из Чехии и Германии, известного математика из Берлина. Да и дедушка мой Лейба, в делах религии – корифей, а в жизни — бедняк и философ, был и остается в моей памяти светлым, добрым отшельником от нашего мира. Как и предки, он предпочитал оставаться самим собой. Странно, что советская власть не уничтожила его, объявив лишь его и его детей лишенцами... Бабушка Ханна отсидела в подвале Гомельского ЧК несколько дней в двадцатых: там добивались, чтобы сдала она несуществующее золото... Потом, видимо, поняли, что в многолетней семье начетника и талмудиста действительно золота нет – и отпустили... В тридцатых бы сидела вся семья...

Мамин дедушка был раввином в городке под Гомелем, кажется, Лоеве. Мама рассказывала, что в пятом году в городке готовился погром. Прадедушка встретился со священником, тот приказал ударить в колокола и запретил своим прихожанам участвовать в погроме. Небывалый случай—погрома не было...

Видно, мало на земле было и таких раввинов, как мой прадедушка, и таких священников. Погром продолжается и по сей день, а ученые муллы и профессора уже спешат доказать молодым, что не было ни Холокоста, ни погромов, что не сжигали евреев на кострах, не сгоняли в гетто, а если и было что-то – то сами евреи и виноваты, слишком умны, слишком лезут во все дела, слишком заметны в науке, торговле, банковском деле, а сейчас и вовсе обнаглели, построив на своем островке в море арабской ненависти удивительное государство. Пора, пора поставить их на место... Маранов... Свиной, то есть... Вчера об этом и узколобый президент Ирана говорил, между прочим...

И смешно искать логику в том, что ненавидят нас те, кто поклоняется иудею Христу и его еврейской маме, и те, у кого отцом был еврей Авраам...

На окраине деревни
грустный иудей Христос
к черной древесине древней
тяжкого креста прирос.
От него, перекрестившись,
шли, бывало, со дворов
мужики, с утра напившись,
местечковых бить жидов...

Это – из моего стихотворения. Кончается оно грустно: « А Христос опять молчит...» Это странное молчание преследовало меня всю жизнь: почему? Почему? Не знаю... С некоторым облегчением замечаю, однако, что в критические моменты что-то происходит: умирает Сталин, находятся силы на победу в войне Судного дня, оживает иврит—язык Торы... Избранный народ живет. Надеюсь, и будет жить.

В июле 1985 года мы в ресторане « Беларусь » в Минске отметили золотую свадьбу мамы и папы. Я сидел рядом с папой. Смотрел на них—и ничто во мне не предчувствовало, что всего через два с небольшим месяца папа неожиданно уйдет от нас, и станет день 29 сентября 1985 года одной из самых черных дат моей жизни. Да и мамина жизнь сломается мгновенно...

А тогда я любовался ими и читал им шуточные стихи. В последний раз. Вот они:

Вам приносим признание в любви,
благодарность за то, что на свете
рядом вы, дорогие мои –
огонек ваш и добр, и приветен.
За пол-века, бывало, не раз
заставала в пути непогода.
Но тепло ваших рук, ваших глаз
грело нас и в холодные годы.
И картина совсем неплоха:
гляньте, как хороши они вместе:
серебром седины жениха
оттеняется юность невесты!
Бескорыстие ваше всегда
светит зорькой, высокой и ясной...
Пусть любви вашей доброй звезда

до брильянтовых дней не угаснет!

Давным-давно, едва явившись в свет,
узнал я от родителей секрет
взаимопонимания и лада:
отец —тому моя порукой честь—
всегда чеканил по-солдатски «Есть!»,
едва лишь мама говорила «Надо!»
Учились мы у них, как надо жить,
как надо уважать, ценить, любить.

Теперь же пусть внимательнейшим взглядом
их внуки поглядят со всех сторон,
как «Есть!» чеканит добрый день Арон,
лишь баба Рива тихо скажет «Надо!»

Какое счастье рядом видеть их—
заботливых, приветных, дорогих —
в простых делах,
в домашних их работах.

И хочется одно сказать мне здесь:
пускай и в сто ответит папа «Есть!»,
когда понадобится маме что-то.

Эти стихи я нашел в папке, в которой всю жизнь папа собирал мои опубликованные и неопубликованные стихотворения, писал своим каллиграфическим неповторимым почерком, где и когда опубликованы они... Я не был столь аккуратен. Папку эту я привез в Америку и — забыл. Но вот недавно нашел — и окунулся в мир моих старых чувств, которые, оказывается, еще волнуют меня. Спасибо, папа. Если мне суждено будет сделать еще книгу — это будет и твоя забота обо мне. Через два десятилетия.

Когда я прочитал за столом эти стихи, папа посмотрел на меня лукаво — я этот взгляд люблю и сейчас ясно помню—и сказал тихонько: « Ты думаешь, я маму боюсь? Я ее люблю...» Я это, конечно же, знал и помню об этой красивой любви, трудной и доброй жизни всегда—до моего конца.

Два года назад, на чижовской кладбище в Минске, где спят мои мама и папа, я думал об этом. И понимал, что главный мой грех – невозможность приходить на эту могилку из далекого далека, где я живу сейчас. Что же, любовь к родителям мы отдаем своим детям, а они отдадут своим. Так, наверно, и должно быть..

Звоню в Израиль: Леньке, тому самому, который встретил нас дождливым вечером у барака на Шорной, семьдесят лет. Как-то не для нас такой космический возраст, душа его не воспринимает, но зеркала не врут...

Ленька только что пережил войну: Хайфу обстреливали «Катюшами», мы тут нервничали ужасно, а Ленька по телефону успокаивал меня, словно это была ненастоящая война, а та, наша детская война, в сарае на Шорной улице...

Соберутся сегодня на юбилей его дочери, шесть внуков, придет Софья Ефимовна, будут наши школьные друзья и общие друзья по всей жизни. Далеко Израиль. А то полетел бы, посидел с ними, пока еще можно поговорить и посидеть. Кто знает, что будет завтра? «Друзей» у Израиля много, в том числе и Россия. Недаром внук нашей подруги Аси Бунимович погиб в танке, подбитом новейшим русским гранатометом. А российский министр обороны заявил, что новейшего российского оружия у

террористов нет, потому что этого не может быть... Потом, правда, стыдливо замолчал... Идет оружие потоком со всех сторон, и весь мир сегодня, кажется, нацеливает его против моего брата Елика, друга Лени, и многих моих друзей и знакомых. Все, как в моем детстве.

Среди гостей будет и Зара Новак, наша одношкольница. Мы сами еще учились в мужском классе, но за нами уже шли смешанные.

С Зарой и ее родителями связаны у меня самые светлые воспоминания.

Я страстно любил читать, но достать книги было почти невозможно. В нескольких маленьких комнатах уютилась тогда единственная в разрушенном городе детская библиотека имени Островского. Там были книги, которые можно было читать разве что из-за отсутствия какого-либо выбора. Я проглатывал все, что попадалось. Какие-то незапомнившиеся и что-то едва запомнившееся. « Земля в цвету», « Счастье», что-то еще. Все это я начинал читать и бросал на середине. Радостью было перехватить в библиотеке зачитанного и разорванного, без каких-то страниц Дюма. Или «Повесть о настоящем человеке» и « Молодую гвардию» -- потом мы играли с Ленькой, изображая героев этих книг и придумывая счастливые концовки для них. Не могли же мы позволить им погибнуть! Несколько раз перечитывались «Два капитана», «Кондуит и Швамбрания»--вот пожалуй и все, что запало в память. Еще какие-то французские романы давал мне читать по секрету одноклассник Толик Малама—в его доме сохранилась и пережила оккупацию подборка еще дореволюционных книг с ятями, и даже подшивки буржуазных журналов «Нива» и еще каких-то. Но потом Толик покинул наш класс, и этот канал иссяк для меня. Вот и все..

Примерно в 1949 году в Минск из Гомеля переехала семья наших дальних родственников, скорее— знакомых, директора техникума Григория Захаровича Хитрика. Жена его, тетя Вера, Вера Самойловна, учитель русского языка, начала мне давать книги из их домашней библиотеки—так я начал свое знакомство с миром классики. Тут уже я зачитывался и наслаждался! Даже ночами при лунном свете на подоконнике читал.

Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь, Маяковский, томик Флобера и даже Мопассан, мне по возрасту не положенный, но вызвавший нездоровый подростковый интерес к тому, что сейчас доступно даже младенцу, нажми лишь кнопку компьютера или телевизора. Я читал, перечитывал, захлебывался, был счастливым путешественником в мире грез и начинал что-то писать, благо папа подарил мне красивую тетрадь с твердой обложкой, на которой я тут же вывел большими буквами «СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ БОРИСА ГАНКИНА», а потом долго ничего не мог придумать. Оказалось, что писать трудно.

Как я любил тетю Веру и книги из шкафа! Увы, я и это перечитал быстро, проглотил, и тут, уже в девятом классе, в пятьдесят втором историческом и переломном году, в нашей школе появились девочки.

Был я тогда секретарем комсомольской организации школы, активно занимался в драмкружке, где отчаянно картавил в ролях Победоносикова в спектакле по Маяковскому или изображал кого-то в пьесе «Снежок» о несчастном американском негритенке, которого играл Марик Горфункель, мой, кстати, зам по комсомольскому комитету.

Время было какое-то странное — юность, девочки, а в стране — дело врачей, крики в очередях об отравителях и жидах, руководителем драмкружка был

Михаил Осипович, бывший актер разогнанного еврейского театра, человек нервный, издерганный войной и пережитым в последнее время, напуганный, старательно внушавший нам все идеи из передовых статей газет.

Наш класс, мужской и гордый, девочек не допускал. Но на переменах мы стали прогуливаться по широкому коридору, а девочки стояли у окон и поглядывали на нас с интересом.

Комсомольская работа и драмкружок сдружили меня с некоторыми из них. Галя Лепешинская, Наташа Духовникова, Галя Нилова. И—Зара Новак. Живая, большеглазая. Она училась в музыкальной школе, и она пригласила меня однажды на день рождения.

Я поднимался по темной неприятно пахнувшей и ужасно скрипучей лестнице. Дом был старый, во время войны тут было гетто. Но квартира была двухкомнатная, у стены стояло пианино, поближе к окну — шкаф с книгами. Зарин отец улыбнулся мне. Я уже знал, что был он режиссером еврейского разогнанного театра. Сухощавый, добрая улыбка. Маленькая Зарина мама, тетя Эльза, была в прошлом актрисой - трагистки в Киеве, кажется, в ТЮЗе. Она много курила, голос был хрипловатый.

Так я вошел в этот дом, который очень любил потом и люблю сейчас. Самуил Григорьевич «управлял» моим чтением: он давал мне мемуары актеров, писателей, художников. Он советовал, что посмотреть в театрах — признаться, я до этого был в театре только три раза. Первый раз—в Баку, в театре юного зрителя, с папой, на спектакле « Слуга двух господ», от которого у меня осталось ощущение праздника и нездешнего, инопланетного мира. Представьте себе мальчика, только что пережившего войну, голодного в течение четырех лет, ничего еще не выдавшего — и

театр, костюмы, богатые декорации итальянского дома, веселые артисты, оркестр — настоящий оркестр! — и вы поймете, как я потом долго вспоминал все это... Потом, уже в Минске, с папой я ходил в еврейский театр на «Гершеле Острополер» и «Колдунью» с ее волшебной музыкой... Тогда я запомнил имена актеров, которые потом, после разгона театра, как и наш Михаил Осипович, искали себе работу. Сокол. Моин. Трпель. Арончик. Они выступали потом в русском и белорусском театрах, я помню блистательного Шута-Сокола в паре с блистательным Лиром-Кистовым... Но так, как они играли в своем театре, они не играли никогда. Не имея еще никаких знаний, я это понимал, и вместе с папой сидел молча в нашей комнатухе на Шорной, не двигаясь и не понимая, как и за что можно разгонять такой театр... И вот сейчас я брал книги у человека, который ничего мне не рассказывал о театре, но умело и тактично направлял мое чтение, позволившее на всю жизнь театр полюбить, как и вообще искусство, и что-то в этом понимать.

На дне рождения Зара играла нам на пианино «Октябрь» из «Времен года» Чайковского. Я прижался к спинке стула, затаил дыхание — что-то происходило со мной, семнадцатилетним мальчишкой, мне было ВОЛШЕБНО. Мне даже не мешал белый Пушок, который тявкал под столом и хватал гостей за ноги...

Потом, бывая в этом доме, я всегда просил Зару сыграть мне эту мелодию.

Кстати, через много-много лет я написал и опубликовал в «Знамени юности»-- республиканской газете -- рассказ «Семь нот в тишине» Мы уже давно не встречались с Зарой, дом на Островского давно был заселен другими людьми, давно похоронили

Самуила Григорьевича, а прошлое жило во мне и вырвалось на свободу в рассказе.

И вдруг — звонок телефона. Я беру трубку. И слышу неповторимый хрипловатый голос тети Эльзы. Она прочла рассказ и из больницы позвонила мне. «Ах, Боря, я и не знала, как вы любили наш дом...» А ведь там не было ни имен, ни уточняющих деталей. Я был счастлив — рассказ удался.

А Эльза Владимировна вскоре умерла. Последние годы она продавала газеты в киоске — на пенсию артистки-травести не проживешь.

Зара работала тогда завучем музыкальной школы под Минском, в Заславле, жизнь ее сложилась сложно, она сейчас живет в Израиле, потеряла сына, внуки в Минске — грустная история современной интеллигентки, осколка неповторимого и славного мира, истребленного современностью. Я еще живу в этом мире — памятью и любовью. Там живут многие, кто незаметно помог мне что-то вобрать в себя и стать самим собой. А ведь это значит так много!

Кинотеатр «Победа» открывался в Минске двумя фильмами—«Падение Берлина» и «Скандал в Клошмерле». «Падение Берлина» я, как и все пацаны, посмотрел бесплатно во время выборов в школьном избирательном участке. Его, правда, показывали с перерывами между частями, но лента была новая, не рвалась, фильм показывали несколько раз и бесплатно, и мы его выучили наизусть. Особенно сцену приезда Сталина в Берлин. Сталина встречали восторженные немцы, он мудро улыбался и говорил, вроде бы обращаясь к нам.

Много позже я узнал, что в Берлин вождь не приезжал... Один из многих мифов, однако, не только нами, мальчишками, встречался восторженно, но и родителями, военными, старыми людьми...

А вот второй фильм я увидел случайно, из будки киномеханика.

Мой двоюродный брат, Чунц, оканчивающий институт киноинженеров, проходил практику в Минске, в кинотеатре «Победа» и брал меня с собой. Фильм был отличный. Я уже был, наверно, в поре созревания, потому что будил он во мне какие-то странные еще для меня желания и волновал даже в самые смешные моменты. Конечно, этот фильм разоблачал буржуазную культуру, гордо думал я. Но что-то в нем есть, что зал полный, хохочут все, особенно, когда министр открывает общественный туалет...

Перед началом фильма на экране шла информация, что фильм трофейный. Точно такая, как перед «Тарзаном» во всех сериях, «Леди Гамильтон» с очаровательной Вивьен Ли, «Мостом Ватерлоо», «Серенадой Солнечной долины» и многими другими. Опять-таки только через много-много лет я узнал, что эту надпись писали, чтобы не оплачивать авторам за фильмы... Но тогда я радовался, что вижу такие замечательные, хотя и буржуазные, фильмы...

Илюша был очень красивый, остроумный, знал стихи. Между нами, несмотря на большую разницу в годах, сразу и на всю оставшуюся жизнь установились очень близкие отношения. Я от него услышал впервые стихотворения Есенина, запрещенного тогда, Ахматовой, Цветаевой, тоже запрещенных... Он рассказал мне о книгах Фейхтвангера, особенно о книге «Москва. 1937 год», тоже запрещенной. Он прочел мне поэму Маргариты Алигер, и позже, когда наступили времена дела врачей, я шептал про себя «Мы виноваты в том, что мы — евреи...».

Илюша несколько раз менял институты, начинал в Тбилиси еще во время войны, продолжил в

Ленинграде в институте киноинженеров, откуда его за чтение друзьям стихотворения Алигер и вышибли — хорошо еще не посадили!, продолжил и окончил уже Алма-Атинский институт. Его очень любили женщины — был он красив, кудрявые черные волосы, живые глаза. А разговор!... Три месяца практики пролетели быстро, я не успел как следует насладиться общением с братом—он часто где-то пропадал. А встретился я с ним уже в начале пятьдесят пятого, когда на первые зимние студенческие каникулы приехал в Ленинград, и он встретил меня в аэропорту... Каждый раз приезжая на каникулы ли, в командировки ли, я встречался с Ильей и мне казалось — он остается таким же, нисколько не меняется... И вот уже нет его — ушел в семьдесят пять. Там же, уже в Питере. Тяжело болел. И осталась на свете из того поколения семьи Чунцев только Нюночка, моя сестричка, живущая уже давно в Торонто... А новое поколение, красивое и многочисленное, живет уже совсем другой самостоятельной жизнью — кто в Канаде, кто — в Питере — и, увы, почти не связано с нами, а, значит, что-то уже украдено историей у нас и у них...

«Литературная газета» с «Бабьим Яром» Евтушенко стала сенсацией мгновенно. Надо же было создать в стране такую антисемитскую государственную систему, что сама мысль об установке памятника уничтоженным фашистами евреев становилась сенсационной! Зато тихо и спокойно уничтожались еврейские кладбища, в том числе и многовековое минское, около которого я вырос. Евреи запомнили имя не только Евтушенко. Имя редактора газеты Косолапова легло и в мою память на всю жизнь: надо было быть свержпорядочным и мужественным человеком, чтобы напечатать стихотворение.

Через некоторое время Косолапов приехал в Минск и во дворце Профсоюзов была встреча с читателями газеты. Я был восхищен выступлением моего школьного друга (и друга всей жизни) Володи Каплана, где он благодарил Косолапова за публикацию стихотворения Евтушенко. Остальные обсуждали в основном другие рубрики газеты. Я был осторожен и побоялся бы выступить, а вот Володя не задумывался... После этого я всегда абсолютно доверял ему мои мысли и чувства и делаю это сейчас.

Мы с Володей в школе ходили в большом «начальстве»: он был председателем учкома—ученического комитета, я — секретарем комсомольского комитета. Начальство в кавычках, потому что реально вся эта игра в демократию ничего не стоила, но все же было интересно собираться, делать школьный радиоузел, выпускать стенную газету.

Мы с Володей бывали друг у друга дома, я и сейчас помню его давно ушедших родителей...

Дружны мы с его семьей и сейчас. Володя уехал в Штаты при первой возможности. Казалось, он был успешен: кандидат наук, работал в престижном центре тепломассообмена у академика Лыкова. Я был на его защите. И знал от него, что ему повезло с руководителями: и Лыков, и Бекир Михайлович Смольский были людьми порядочными, абсолютно далекими от антисемитизма. И зарплата у него, как у кандидата, была по нашим понятиям неплохая. И две прелестные рыженькие дочушки уже росли в их квартирке... А вот же хватило у Володи и Тома—его жены—мужества подняться в пору, когда отъезд был подобен подвигу, потому что, во-первых, неизвестно было, дадут ли разрешение, во-вторых, отъезжающие объявлялись предателями, с ними боялись общаться, казалось, они никогда больше не увидятся с

родителями, друзьями, наконец, в третьих, никто не понимал и не знал, что их ждет впереди... Мы с Ритой приехали прощаться к Володе – квартира была пустая, чемоданы стояли в углу, Тома и Володя бодрились, но голоса их выдавали волнение...

Через многие годы Володя приехал в Минск за мамой. Он пришел к нам, мы беседовали долго, выпили, конечно, вспоминали детство, юность, наши походы, все, что нас так соединяло. Потом я пошел его провожать. Мы шли по улице, и я спросил его, стоит ли мне думать об отъезде. Мудрый ответ Володи я запомнил надолго: «Когда я уезжал, меня довели до того, что я ненавидел уже даже столбы на улице... Ты этого чувства не знаешь. Пока ты спрашиваешь, ты к отъезду не готов...» И это была — истина. Я созрел только после отъезда детей — еще два с лишним года мы жили в Минске без них. И помогли мне в этом выборы... Президента. С этой поры я понял, что ничего в Белоруссии не изменится, и надо уезжать, пока есть еще в запасе немного лет, надо пробовать узнать другую жизнь. Мне было намного легче, чем Володе: дети уже работали, сестричка моя Мара жила в том же неведомом Анн Арборе, нас уже посетил Ленечка и от него мы знали примерно, что нас ждет, и все же в шестьдесят было трудно все обрубать, оставлять могилы, любимых друзей, все привязанности, любимую работу, казалось, навсегда я бросаю свою жизнь — поэзию... И опять я вспоминал Володю и его слова о том, что любовь к родителям надо отдавать детям. Об этом я думал тогда, когда самолет оторвался от взлетной полосы, внизу мелькнул Курган Славы, и самолет взял курс на Варшаву. Первый визит в Америке, конечно же, был у нас в Вашингтон, к Володе и Тамаре. И сейчас радость для нас — голос в трубке:

« Господа Ганкины, как дела...» Потому что осталось нас, одноклассников, немного, потому, что все-таки мы не изменили ни себе, ни друг другу, а это многого стоит...

Прислала мне сестренка информацию: в Англии, чтобы не «обидеть» школьников—мусульман, отменили уроки Холокоста. Еще одно трусливое влияние Запада перед чумой, которую, кажется, Запад уже не остановит. Это трусливое влияние только подогревает уверенность средневековых безумцев в своей непобедимости. Боже мой, это ведь и здесь, в Штатах, происходит. Непонимание, что идет война, а на войне — как на войне... Неспособность христиан стать на защиту своих ценностей, как стоят исламисты на защите своих. Неспособность понять, что Мечеть Парижской Богоматери станет реальностью, и сдерут с Мечети все скульптуры и выбросят из Лувра все картины. И что будут смотреть на экранах внуки? Разве что заунывную музыку зурны, муллу, читающего Коран да обезглавливание очередного мыслящего журналиста...

Самое страшное, что армии вяжут руки — что в Ираке, что в Израиле. Не убей, не стреляй, а вдруг стреляешь не в того. Сначала проверь, в кого стреляешь. А проверить невозможно — взрыв уносит жизнь следующих солдат... Миротворцы рады — они сидят далеко, их не достало. Достанет, как в Нью Йорке, и их, тогда их единомышленники погорюют пару месяцев, и все опять... Не вязали бы, дали бы свободу—был бы, может, порядок и покой уже и в Израиле, и в Ираке. И еще огорчительно, что Россия лезет в ту же петлю, что с Гитлером — тихонько договаривается, поставяет оружие. Тысячелетний опыт ничему не учит.

Простите, отвлекся. Болит очень.

Вчера тряхнула аритмия, с утра до вечера. Отошел на дне рождения Маши—то ли от милых лиц вокруг, то ли от рюмки водки. А милых лиц и воспоминаний было много. Вспомнилась Маша в возрасте года-полутора, живая, непоседливая, упорная в своих устремлениях уже тогда. Вспомнился Элькон Давыдович Портман—дед Маши, крупный, уже малоподвижный, с умными внимательными глазами и неисчерпаемыми рассказами о прошлом, о Есенине, о Маяковском, о молодом Каверине, о Тынянове, Черкасове, Акимове — словом, для впечатлительного молодого человека, каким я был тридцать четыре года назад, было что запомнить и чем восхищаться.

Вспомнилась Машина бабушка Сарра Давыдовна. Она умерла-то всего год тому, в возрасте почтенном—96 лет. А в шестьдесят пять была она красива, да и после тоже, ходила в шляпках с вуалькой, вспоминала гимназию, где училась, кормила меня неизменным ароматным борщом. А в хорошие вечера играла на старом рояле — я тут же таял и замирал...

Инночка — старшая дочь—была уже женой нашего друга Фимы Ревзина—то есть Машиной тетей. Вера—мама Маши -- и Юра — ее отец—были молоды, красивы, жизнерадостны, нас роднила любовь к театру, книгам, кажется, разница в возрасте не чувствовалась.

В каждый приезд в Ленинград я обязательно выкраивал время, чтобы вдохнуть добрый воздух квартиры на Загородном... Да и Витебский вокзал был рядом, в десяти минутах ходьбы...

Пошли мои дареные дни: первого мая этого 2007 года сердце мое сорвалось, сутки не могли поправить

в госпитале ни ритма, ни давления, начались остановки до 7 секунд, и мне срочно сделали операцию: поставили пэйсмейкер, я не знаю русского названия чудо – прибора. И разрешили через два дня поехать в Аризону, Юту и Неваду! У нас была куплена поездка...

Представьте себе, уже пятого мая мы бродили по Лас Вегасу, а потом открывали для себя чудо – страну: Зайон Каньон с его цветными стенами и плачущим камнем, Брайс Каньон с его тысячами выветриваний, выстроившимися в долинах, чудо воображения природы – каньон Антилоп, где природа – художник накрутила самые причудливые формы, и создала абстракции, от которых кругом шла голова и восхищенно захватывало дыхание... И прогулка на теплоходе по каньону Глен, и закат солнца над Белым каньоном, где река образовала Лошадиную Подкову, и цветущая пустыня Сонора с ее кактусами сагуара, каждый из которых был неповторимо изваян под жарким солнцем. Казалось, что Создатель проверял здесь свои безграничные способности, и это ему удалось на славу! Такое же ощущение было у меня на крошечной земле Израиля, где каждый поворот дороги открывал картины, непохожие на предыдущие. Поистине, стоило рисковать ради этого – я был захвачен, восторжен и не думал о себе с жалостью и страхом...

Впрочем, страха у меня нет и теперь. Как-то вдруг я посыпался: вчера врач послала меня на проверку к гастроэнтерологу, а для меня каждый визит к врачу – проблема. За этот год я уже находился больше, чем за предыдущую жизнь... Что ж, спасибо судьбе за семьдесят предыдущих активных лет!

Вдруг вспомнилось мне, как впервые мы нахально влезли в заповедное ущелье реки Кизгыч в Карачаево – Черкессии.

Ущелье это охранялось егерями из Архызского отделения. Для восстановления популяции кавказских зубров завезли туда несколько животных, которые тут же стали объектом охоты браконьеров. Зубры паслись на крутых склонах ущелья, где выше леса раскинулись роскошные альпийские луга с цветами выше наших голов. Зимой они спускаются вниз, где гери готовят им сено и устраивают кормушки.

Поближе к ледникам река образовала теснину, которую, конечно же, туристы называли «Чертова мельница». Тропа над мельницей узкая, река внизу беснуется, ворочает камни, перемалывая их. Немного ниже по ущелью, в широкой еще части ущелья, построен домик для егерей.

Так случилось, что мне не повезло: разрыв связки, мучительная боль при ходьбе. Поэтому с перевала я решил свалиться вниз, пройти по Кизгычу и добраться по ущелью до турбазы в Архызе. Мы нашли место пошире, на рассвете переправились через ледяную реку, прошли тропой сверху вниз мимо Чертовой мельницы, боль изнуряла меня, поэтому я решил остановиться в домике егерей: если повезет, никто не придет, если не повезет—сошлюсь на распухшую ногу.

Я улегся на кровать, ребята стали готовить обед. Вдруг один из них прибежал и сказал, что внизу появились два егеря на конях.

У нас, конечно же, был в запасе спирт, его я и посоветовал приготовить к обеду и угощению гостей. Тропа в Архыз была на другой стороне реки, река была сумасшедшая: воды в тот год было много. Всадники ехали прямо по воде, они хорошо знали

дорогу и направляли коней то к левому, то к правому берегу.

И вот они уже около нас. Обед готов, хозяев привели ко мне и я с радостно-нахальной миной сообщил им, что ждал их, как спасителей. Осмотрев мою ногу, они поцокали, поговорили между собой и сказали мне, что позволить нам ночевать в домике не могут, и что перевезут нас на лошадях на правый берег, а там есть тропа, и мы до темноты успеем дойти вниз до Архыза.

Часов в пять переправа была окончена, егери уехали к домику, а мы поднялись повыше и увидели, что тропа заросла: туристов давно не было, егери ехали по реке, и трава выше нашего роста забила тропу -- двигаться можно было с трудом. А тут еще стали напирать тучи, заблестели молнии, по ущелью прокатился гром, потемнело, и началась знаменитая западнокавказская гроза... Словом, мы шли при непрерывном свете молний до рассвета, боль в ноге становилась все сильнее, фонарики быстро сели, внизу шумела вода Кизгыча, сверху летели молнии, повороты тропы находили чуть ли не вручную, и не было ни одного ровного места для палатки.

Шли мы без остановки двенадцать часов и утром, на рассвете, прошли шлагбаум и вышли к реке Архыз, гроза ушла, встало солнце, мы раскидали мокрые насквозь вещи и заснули...

А вечером приехал один из егерей, Алим Текеев, привез нам айран, лепешки, вареную баранину и стал просить прощения: они нашли утром тропу, проехали по нашим следам и поняли, куда нас загнали на ночь глядя, да еще и на грозу...

«Извините! – говорил Алим, -- наш народ проклял бы меня за это: нельзя гостей прогонять...»

Мы сдружились с Алимом, побывали в его доме, слышали жуткую историю выселения его семьи, как

и всех карачаевцев, в Казахстан по сталинскому приказу, как высадили женщин, стариков и детей в голой заснеженной проветренной степи и выжили в этот день только те, кто руками смог выкопать спасительные ямы в снегу и укрыть близких от насквозь продувающего ледяного ветра, как погибли четверо братиков и сестричек Алима, как отец был на фронте и только в сорок пятом, приехав в Архыз, нашел в их домике новых жильцов из Грузии и узнал о высылке земляков, как поехал потом искать семью...

Потом я водил в группы в Кизгыч, получив с помощью Алима разрешение на посещение ущелья Кизгыч. Зубров мы видели один раз, и то – в бинокль. Алим радостно говорил, что появились у зубров дети... Что стало с зубрами сейчас, я не знаю, пожалуй, у меня больше пессимизма, чем веры в хорошее. Слишком много изменилось, и новые русские считаться с егерями не будут. Да и судьбу Алима не знаю...

Там же, в Архызе, встретил я Юру Визбора, тогда молодого и здорового. Был он загорелым, волосы выцвели на ярком солнце, мы поболтали о бардовской песне, я рассказал ему о Фанах, где уже побывал, и он ушел вниз, на какую-то дачу, где остановился.

Последний концерт Визбора в Минске проходил в доме культуры автозавода. Был Юра уже болен, под глазами даже из зала были видны мешки, но пел задушевно, романтика его песен навевала воспоминания о нашей молодости и многом былом...

Еще через несколько месяцев ушел он все же больничным коридором, впрочем, оставив о себе звездную память во всех, кто был с ним знаком и кто любит его песни...

Я окончил школу в пятьдесят четвертом году. Дело врачей уже окончилось бесславно, но не окончился ни государственный, ни бытовой антисемитизм. Все же медаль я получил, правда, серебряную: в ГОРОНО мне снизили на четверку отметку по сочинению, хотя у меня, как говорила Софья Михайловна, была врожденная грамотность, писал я всегда только на отлично, а мои сочинения, как мне не раз рассказывали, еще много лет Софья Михайловна зачитывала в классах как образцовые.

Время было интересное, шли дискуссии о физиках и лириках, я увлекался лирикой и физикой в равной мере и решил поступить в Белорусский Университет – хоть и знал, что евреев туда не берут, кроме блатных, но медаль давала шансы. Медалисты были освобождены от экзаменов и проходили собеседование. Там мне задали только один вопрос: занимаюсь ли я спортом. Так как я играл за школу в баскетбол, имел в пионерлагерях грамоты за прыжки и бег, то я ответил положительно и услышал в ответ, что такие студенты очень нужны Университету.

Вместе со мной на тот же факультет поступали еще двое моих одношкольников: Миша Левин и Мона Волмянский, тоже медалисты. Не знаю, что спросили у Мони, а у Миши спросили, любит ли он музыку. Миша играл на скрипке в оркестре Дворца Профсоюзов и улышал те же, что и я, слова о том, что Университету нужны такие студенты.

Оба мы наивно думали, что все в порядке. Но ни Миши, ни Мони, ни меня в списках принятых не оказалось.

Выбора не было. Мы в последний день приема документов успели подать заявления в Технологический, тогда Лесотехнический, институт, куда и были приняты. Впрочем, Мона потом забрал свои документы, попал на три года в танковые войска

и окончил- таки вечерний физический факультет, после чего его долго никуда не брали, мечта об исследовательской работе так и не сбылась, работал он потом в Боровлянах, в институте онкологии, на «пушке». Мы не были близки, я не знаю, был ли он счастлив свои выбором. Но уважаю его настойчивость... Миша Левин нашел себя, занявшись теоретической механикой. Он стал впоследствии кандидатом наук, многие десятилетия работал в Политехническом институте, его докторская тоже многие десятилетия лежала без движения, ему прямо в глаза говорили, что защитить не дадут и с кафедры выгонят, если посмеет защищаться. Уже в начале перестройки он все же защитил докторскую, после похорон Софьи Михайловны мы много часов ходили с ним по Минску, он с горячностью и так и не прошедшим волнением рассказывал вновь и вновь все перепетии его научной одиссеи. Мы договорились о встрече, а через несколько недель я случайно узнал отом, что Миша скоропостижно умер от инфаркта. .. Еще одна неучтенная жертва системы, по которой до сих пор многие тоскуют...

У меня все сложилось иначе. Институт неожиданно оказался интересным, преподаватели тоже. И знания, которые нам дали, позволяли успешно работать, как подтвердила моя жизнь. Впрочем, потом мы с Ритой, уже моей женой, окончили еще и двухгодичный курс по системам автоматизации и управления в Политехническом Институте, где учились люди с высшим образованием, добавив таким образом еще что-то в наш багаж... Но это—потом.

Мне хочется рассказать о некоторых ярких личностях, иногда даже странных, с которыми познакомила судьба в институте, и прежде всего – об Александре Львовиче Бершадском, с которым связали

меня не только учеба, но и жизненные обстоятельства...

Сегодня 26 лет со дня гибели отца Риты—Цодика Ароновича Немцова, доцента Технологического института. В этот день невольно переносишься в прошлое...

Был мой тесть жизнерадостным, крепким, с броской внешностью человеком. Его узнавали многие минчане: похож на деда Мороза, не ходит -- бегаёт, на стадионе катаётся на коньках с внуком, а друзья добавляли ещё – и поёт.

Он и в самом деле хорошо пел.

Происходил из семьи чугушника, бедняка, из Черикова. Отец его ходил по деревням и чинил прохудившуюся посуду бедняков – крестьян. Родился в 1905 году.

Рассказывал нам о том, как после революции Пантелеймон Николаевич Лепешинский создал Леменскую школу – коммуну для детей бедняков, откуда вышли потом и академик Рокитский Петр Фомич, часто заходивший к нам на огонек, и композитор Исаак Любан, ближайший друг, и профессор университета Гуторов, и знаменитый математик Ахиезер, -- словом, много знаменитостей, некоторых из которых посчастливилось знать и нам.

Совсем молодым стал Цодик Немцов председателем колхоза, забавно рассказывал о том, как получил колхоз племенных поросят из Голландии, и его религиозная мама плакала, но кормила, выхаживала, мыла их, чтобы сын не был обвинен во вредительстве.

Цодик хорошо пел и поступил в музыкальный техникум в Минске, учился у профессора Цветкова, который говаривал, бывало: « Вот кого я после себя

оставлю...» С ним вместе учились и будущие звезды Белорусской оперы – Млодек, Денисов, Болотин...

Бывало, соберутся друзья или семья – и поет отец нам арию Жермона или из « Нерона»... Его готовили на тенора...

Но время было голодное, паек студента техникума обрекал его на постоянный голод.

И ушел Цодик Немцов из музыки в Университет, а после его окончания сделал хорошую карьеру в Госплане.

Но... наступил тридцать седьмой год.

Уже родился и рос Гена, ждали Риту...

Начальник Госплана – латыш по национальности, из латышских стрелков, был арестован, очередь была за его заместителем... И Ритина мама, мудрая Сарра Яковлевна, настояла, чтобы отец срочно уволился и уехал в деревню. Так он и сделал. Уехал, правда, не в деревню, а в Москву. Пришедшим за ним людям «оттуда» мама сказала, что он ничего ей не пишет и, наверно, бросил семью...

А отец через несколько месяцев поступил в аспирантуру в Москве.

Только перед войной он решил приехать в Минск, сразу попал на военные сборы, вернулся с которых буквально за пару дней до войны.

22 июня 1941 года все собирались пойти на открытие Комсомольского озера. Но... после выступления Молотова побежал отец в райком – никого, побежал в военкомат – никого. Он нам рассказывал, что стояли на базах новенькие машины, не заправленные бензином, на которых можно было бы успеть вывезти тысячи людей. Увы, начальства не было...

Начались бомбежки. На второй день войны по дороге в бомбоубежище кто-то окликнул отца: во дворе стояла машина со знакомыми. « Быстренько

садитесь, ждать не станем...» Так и уехали на Борисов с маленьким чемоданчиком. Добрались до Куйбышева.

Тут и ушел Ритин отец на фронт и прошел всю войну, включая и Германию, и Манчжурию..

После демобилизации нашел семью, и вернулись все в Минск. Тогда Лесотехнический институт переводили из Гомеля в Минск, он был взят на кафедру политэкономии, стал доцентом, проработал фактически до смерти своей в 1981 году... Читал он лекции по политэкономии и у нас на курсе. Потом, когда я уже вошел в семью, как-то пошутил, что он «поп при советской власти». Впрочем, он действительно верил, что всем обязан этой власти, как верили многие выходцы из бедноты, которые за жизнь одного поколения сделали гигантский шаг от местечка до новой интеллигенции...

Странно, что сделавшие такой же шаг папа и дядя Женя молча презирали эту власть... Видимо, разные пути и разные выводы из потерь.

Был убит на Минском море, куда 2 июля поехал, как обычно, поплавать, отдохнуть. Мать задержалась и уехала следующей электричкой. Мы были на работе. Никогда не забуду подвыпившего толстого полковника, который пришел к нам уже вечером, увел меня в соседнюю комнату и начал выяснять, где был я, где была Рита, где был Миша и даже двенадцатилетний Ленья. Я уже понял, что что-то произошло, и спрашивал его об этом. Ответа не было. Только уходя, когда в коридор выскочила Рита, он сказал, что отец убит. И потом мы долго разыскивали мать – оказалось, ее продержали ведь день у тела, потом допрашивали в милиции, даже стакана чая не предложили старой, убитой горем женщине, и только вечером отпустили из участка, от которого до электрички надо было идти несколько километров.

В тот день я впервые столкнулся с милицией и понял навсегда, что этих людей надо сторониться. (К чести американской полиции, с которой мне пришлось столкнуться при нескольких автомобильных происшествиях позже, полицейские были и дружелюбны, и безукоризненно вежливы...) Когда через несколько месяцев нашли убийцу – молодого уголовника, которому надо было просто выпить, на мой вопрос к следователю, что грозит убийце, последовал ошеломляющий своей циничностью ответ: « За ним никто не стоит (видимо, из влиятельных персон), так что будет казнен...» Так и произошло позже: за ним тянулся шлейф убийств и грабежей.

Как многие люди его поколения, Ритин отец считал, что только революции обязан образованием и только в конце жизни начал о многом задумываться, хотя избегал говорить на скользкие темы. А что-то в атмосфере начиналось меняться, страна катилась под уклон, на производствах мы это видели, да и магазины пустели катастрофически. Было странно и смешно, что инвалид войны мог вне очереди получить ненужный ему велосипед или нужную нам, детям, подписку на собрание сочинений... Вот и все льготы, которая благодарная страна дала участникам войны. Жировала партийная верхушка: спецбуфеты, спецжилые, дачи и санатории... Да их дети...

Несколько жарких дней подарили ежедневные аритмии... Сегодня попрохладней, и я сел к компьютеру. Еще не знаю, о чем напишу. В голове вертятся картины разных лет и разные лица. Так кинохроника мешает событиям. Остановлюсь я, пожалуй, на первой поездке в Ленинград в январе-феврале 1955 года. Н-да... всего 52 года назад...

В Минске зимние каникулы были теплыми – капель. Поэтому я одел пижонскую кепчонку с большим козырьком, вопреки маминым советам на ноги одел туфли, пальтишко у меня было одно. И впервые в жизни зашел в самолет, какой-то Ан, человек на двадцать. Летел самолет часа четыре, вылетал из Минского аэропорта, а прилетал в Пулково. Меня встречал Илюша Чунц, мой любимый братишка, и... тридцатиградусный мороз, так что и ноги мои замерзли мгновенно, и уши стали торчком, большие, как модный козырек моей кепки.

На каком-то трамвае доехали мы до улицы с идиотским названием Союз Печатников, где в четырех комнатах старого дома размещались все Чунцы: первая справа комната – семья Илюши, первая слева – семья Нины, следующая комната – дядя Хоня и тетя Сарра, там меня и поместили, а прямо в тупике — Лиленька, так что все Чунцы завертели меня, закружили, я в них влюбился мгновенно, и сохранил эту любовь до сего дня, хотя нет уже Илюши, Лиленьки, дяди и тети. И хотя потом я бывал уже в других квартирах, разбросанных в разные концы, ту, первую, люблю и помню. В Питере училась еще одна моя сестренка – Наташка. Она прибежала на следующий день – и мы подружились на всю жизнь, до самого конца Наташкиной жизни, в Израиле, много лет спустя...

Будучи экстремистом, я хотел все в Ленинграде посмотреть, казалось, никогда я там больше не буду. Это чувство -- посмотреть все! — осталось у меня и сейчас, и в любом месте мы с Ритой стараемся увидеть ВСЕ. Но там было 30 ниже нуля, висел туман, меня пробирало насквозь, хотя я бежал от транспорта до следующего музея с забегами во все встречные магазины и подъезды, благо домофонов тогда не было. Впрочем, все было стылым – трамвай,

троллейбусы, автобусы, да и сами музеи... Помнится, как зачем-то побежал я от Растральных колонн к Артиллерийскому музею в Петропавловке, а когда пришел туда – не мог отогреть ни рук, ни ног... Болело все так, что было не до пушек...

Вечерами мы с Ильей выпивали «фронтовые» сто грамм, ели горячие щи. На театр денег не было, поэтому театры я узнавал уже потом, в многочисленных командировках и посещениях Питера. Зачем-то все же я поехал еще в Петергоф, дворец был еще полуразрушен, только несколько залов были открыты, фонтаны зимой, естественно, не работали, я бегал по скрипучим дорожкам и думал о будущем. Прошлое манило, но будущее звало сильнее, все казалось замечательным, Чунцы, ленинградцы, снег, восстановленные залы, хотелось домой: я уже был влюблен в Риту, и мне надо было писать свои стишки, наивные и неумелые, о Питере. Я потом сделал альбом, который и сейчас у меня здесь, в Америке: фотографии, стишки, нестираемые следы прошлого... Моя наивная юность, бедная и богатая...

Полумрак сарая. Широкие полаты. Мы с Ленкой играем в войну. Только что прочли «Молодую гвардию», и фантазия наша уносит нас туда, в недавние события... Играем с изменениями: не могут погибнуть молодогвардейцы, их спасают в последнюю минуту.

Сквозь щели в стене в сарай проникают лучи солнца, в них – золотистая пыль. Со двора доносятся голоса наших друзей, мы не отзываемся – играем. Потом начинаем вспоминать школу: учебный год только что окончился, завтра я уезжаю в Ждановичи, в пионерлагерь «Лесная сказка». Лето 1949 года...

Сейчас я думаю: откуда у нас была такая страстная привязанность к чтению? Потому что не было игр,

телевизоров, фильмы шли по пол-года? Скорее, потому что в книгах была другая жизнь, полная приключений,страстей, не связанных с пайками, бараками, развалинами, очередями, воскресными прогулками в баню, стояниями в очереди в туалеты во дворе... Мы видели так мало, а хотели так много! И потом, когда стала жизнь получше, и у Лени, и у меня главным в доме были книги, и даже тут, в эмиграции, книгами украшена вся жизнь, хотя у внуков главное уже – компьютер и телевизор... Да и впрямь, мог ли кто из нас предположить, что за нашу жизнь все в мире измениться, и сами мы окажемся в разных странах, а те, восторженные мальчишки из 1949 года, вроде бы и не мы, а другие...

Матчинский узел. Едем в горы. Автобус останавливается то в узбекском,то в киргизском,то в таджикском селении. Все перепутано, все перемешано. Наконец, мы у подножья хребта. Находим попутку. И вот уже мы стоим на берегу шумной речушки, рюкзаки на спинах – в путь. Ущелье неглубокое, тропа некруо поднимается вверх. За поворотом -- абрикосовый сад. Знаменитые воруханские абрикосы! Нам уже рассказал водитель – молодой киргиз – что ими снабжалось « большое начальство» в Москве и даже спортсмены во время олимпийских игр... Вот они, деревья и трава под ними усыпаны золотыми плодами... Предупреждаю моих, чтобы не увлекались – последствия переедания могут быть тяжелыми. Но и сам с радостью мою абрикосы в реке и наслаждаюсь их вкусом и ароматом. Набираем в кастрюльки абрикосы, а позже, на привале, варим варенье—пригодится в походе... Потом еще один сад, еще... Ночуем уже выше садов, в арчовом лесу, впереди проглядывают ледовые пики,но до них еще далеко, и ночью тепло...

Начинается чудо похода!

Шок...

Иного слова нет. Внезапно у меня нашли рак желудка—рутинная проверка обернулась ощущением катастрофы. Это, наверно, испытывает каждый в первые мгновения. Потом включается подсознание: надо что-то успеть, сделать, оставить. Потом — надежда на ошибку. Потом — надежда, что масштабы катастрофы незначительны. Потом — надежда, что поможет кто-нибудь. Бог. И его посланники — врачи.

В эти дни тревог я очень хочу успеть написать еще о моей жизни. И, в частности, о моей любимой работе, которой было отдано сорок лет. Работе конструктора. Я был один из счастливцев. Одним из немногих, кто летел на работу, как на праздник. Еще бы! Мы проектировали новые машины, не повторяя фактически их. Перед отъездом в Америку я подсчитал по свои заметкам, что спроектировал более 400 машин и линий. И почти все были внедрены и работали.

Вспоминается распределение после института. Я шел вторым: первым шел Иван Сторожев, участник войны, семейный и много старше нас. Я же шел по успеваемости. Мест в Минске не было. И я нацеливался на Гомель. Но Гомель забрал Сторожев. И тут в комиссию зашел какой-то пожилой человек и я ждал своей очереди минут пятнадцать. Человек вышел из помещения, где работала комиссия.

Когда я вошел, мне предложили Минск! Оказывается, передо мной принесли заявку в СКБ-12, недавно созданное при заводе имени Кирова. СКБ занималось протяжными и отрезными станками и

линиями. Конечно, я согласился. Выскочил и сказал тем, кто шел за мной, что есть места в Минске. В результате девять первых получили эти места. Представьте себе вытянутое лицо начальника отдела кадров КБ Песенко, когда к нему первого сентября на работу пришло восемь евреев! Как обошелся без инфаркта, не знаю. Но такое явное разочарование было написано на этом лице! Что ему отличники! Ему картину испортили... Хорошо еще, что главным конструктором был Георгий Сафронович Талако, человек порядочный и интеллигентный.

В первый же день руководитель группы Витя Цегельник дал мне разрабатывать гидроцилиндр для станка – и пошло! Через год я был уже конструктором первой категории, знал вертикально-протяжные станки наизусть, еще через год мне уже было неинтересно имизаниваться: кончали одну гамму станков и начинали ее модернизацию... Хотелось большего.

Это большее пришло оттуда, откуда я его и не ждал. Папин земляк Лев Ефимович Вольперт, асс своего дела и главный конструктор нового, только что созданного КБ Легкой промышленности, которое тогда размещалось на арендованных площадях и сараях при школе около камвольного комбината в Минске, позвонил отцу и спросил, не хочет ли сын перейти в новое КБ. Я понятия не имел о легкой промышленности и оборудовании, но перспектива заняться новым делом была соблазнительной, и я перешел в новое КБ. Там и работал до отъезда в США. И никогда не пожалел об этом.

Через год я уже был главным конструктором проекта. Работа оказалась удивительной: КБ было экспериментально-конструкторским, мы все время разрабатывали новое и новое оборудование, гамма разработок охватывала всю промышленность, от

конвейерных линий до отделки, металл и пластмасы, было много пионерских разработок, головоломок, со мной работали прекрасные ребята и девушки, были мы молоды и вкалывать умели. Директором КБ был инвалид войны Борис Григорьевич Теуш, который и стоял у истоков дела. Большеголовый, с тонкими еврейскими губами, добрый, честный и порядочный человек. Он уже «выбил» деньги для КБ и опытного производства и строящееся здание делало КБ значимым в районе.

Уже наученный жизнью, я ему как-то сказал :

-- Борис Григорьевич, вы не боитесь, что после постройки здания вас уберут?

Он самоуверенно улыбнулся и сказал, что его-то не уберут...

Убрали играючи! Под надуманным предлогом., приписав самые выдуманные недочеты...

И потом многие годы нами командовал присланный из парторганов и прошедший иезуитскую школу работы в народном контроле человек. Отпетый антисемит, который вычистил организацию от евреев – специалистов, не съев, правда, меня: слишком большой воз непопулярной работы я тащил на себе. Е.Д. – назову его инициалами – имел манеры удава: он выбирал жертву, занимался ее травлей, проглатывал, то-есть снимал, потом некоторое время переваривал жертву, выбирал новую... Так и шло...

Перед отъездом на внедрение разработок он мог забежать ко мне и сказать, что снимет меня, если работа не будет внедрена. Пугнуть еще чем-нибудь. Когда моего тестя убил хулиган, он доверительно сообщил мне, что убили тестя сионисты за то, что мы не едем в Израиль. Он приносил мне все антисемитские книги и статьи, которые только мог достать. Во время войны Судного дня прибежал,

радостно потирая руки, и сообщил мне, что арабы уже в Тель-Авиве...

Если бы не интересная работа и добрые отношения с коллективом, я бы ушел куда-нибудь. Но... не решился. А когда однажды решился, нашел быстро новую работу, но мои коллеги подняли бунт. И пришлось директору извиняться передо мной.

Е.Д. с треском провалили на первых же выборах, когда в начале перестройки ввели выборы директоров. Его некомпетентность и злоба сделали свое дело. Провал был ошеломляющим. Утром следующего дня его уже не было.

Кстати, он во время войны был в Германии, якобы его отца и его самого туда вывезли в качестве рабов. Во всяком случае, там он научился многому.

Имел и многие привлекательные стороны: играл на гармонии, прекрасно говорил на идиш, видимо, вырос в белорусско-еврейском местечке, которых когда-то много было в Белорусии...

Когда мы были в 2004 году в Минске, КБ уже не существовало, в здании размещались разные офисы, ресторан и прочее... СКБ-12 стало маленьким отделом при заводе, работали только пенсионеры, подрабатывающие что-то к нищим пенсиям, завод работал три дня в неделю... Что-то страшное произошло в стране, молодежь занималась торговлей, Минск был чистым и красивым, на улицах было много пьяных, подъезды были грязные, лифты загаженными, темными... Уже не было ощущения моего родного города, где я вырос, может потому, что не было своего угла, ушли из жизни многие друзья, а наши дети и внуки были в Америке...

Оставались только воспоминания и улыбки встречающих...

Вчера долго разговаривал с Израилем. Позвонили наши друзья по жизни Голубицкие – Белла и Боря. Рассказал о моем заболевании. Что - то вспомнили, чему – то посмеялись. Много говорить о болячках нам ни к чему: и без того знаем, что переживаем все беды друг друга как свои...

Потом я лежал и вспоминал, как к нам на Свердлова приходили друзья родителей Риты, могилевский врач – психиатр Григорий Индикт и его жена Лиза Пивоварова. Родители вспоминали Чериков, довоенные годы, общих друзей, я слушал рассказы о жизни поколения, сегодня почти ушедшего. Брат тети Лизы – Зяма Пивоваров – был молодым белорусским поэтом, было странно и страшно слушать, как его, талантливого пишущего на белорусском языке еврея, обвинили в белорусском национализме, и как погиб этот талант в сталинских застенках. Лиза рассказывала, как гостил у них Янка Купала, он писал тогда поэму « Над ракой Арэсой », была страшная пора арестов писателей и Купала надеялся отвести от себя угрозу этой поэмой об индустриализации Белоруссии и прелестях новой жизни... Был он немножко влюблен в Лизу, тогда совсем молодую, и читал ей свои стихи... Зяма работал в Минске, выпустил первую тоненькую книгу... Время было страшное...

Дядя Гриша был немногословным, был влюблен в свою работу, передал эту любовь старшему сыну Семену, с которым мы тоже чуть позже сдружились. Семен уже работал в Москве, был влюбленным в работу врачом – психиатром.

Мы уже были дружны и со средним сыном Романом, инженером, молчуном и абсолютно преданным и порядочным другом.

Однажды в наш дом пришла и дочь Индиктов, очаровательная умница Белла, только что поступившая в консерваторию. Подружились мы сразу и на всю жизнь. Белла готовилась стать скрипачкой, жила в общежитии, где прославилась среди ничего не умеющих музыкантов тем, что все умела: починить мебель, соорудить какую-то конструкцию для учебы и книг, приготовить вкусный обед и заразительно смеяться.

Мы ходили на студенческие спектакли и концерты, где выступала Беллочка, а она ходила с нами по выходным в походы по Беларуси, которыми мы увлекались.

Однажды зимой мы уехали кататься на лыжах в Крыжовку, и Белла налетела на дерево, ударила колено, да так сильно, что ни шагу не могла сделать. Мы несли ее на руках до электрички, и, конечно, в общежитие не отпустили. У нас она лечилась и отлеживалась. По-моему, это было в 1972 году.

В тот год в Минске была впервые выставка ИНТЕРФОТО, очень интересная. Мы с Ритой посетили ее, вернулись домой и рассказали Белле, она с палочкой, хромая, пошла на выставку. Вернувшись, сообщила нам, что встретила с очаровательным парнем, который придет к нам познакомиться, потому что через пару недель они расписываются в ЗАГСЕ.

Парень пришел – и остался в нашей жизни навсегда. Милый, доброжелательный, талантливый технолог с объединения ДОРМАШ, очень стойкий в походных и житейских передрягах.

Свадьба действительно была через короткое время. Гуляли весело, один вечер – в столовой на ул. Купалы, второй – у нас дома. Там мы познакомилась еще с двумя милыми созданиями – Валюшей и Аллочкой, пианистками и подругами Беллы, с которыми и мы сдружились... Потом мы сдружились

и с мужем Вали, певцом Герой Чернышовым, и с Колей, мужем Аллы. Геры уже нет, он умер на сцене во время концерта, С Аллой и Колей мы встретились у них дома, когда побывали в Минске.

Все Индикты – Семен, Рома и Белла – сейчас живут в Израиле, родители уже ушли...

Интересно, что глашатаями, принесшими мне весть о раковом заболевании, стали три молодых женщины – врача... Может, так судьба смягчала удар: первое время это известие всегда шок... И ощущение, что между мной и живыми судьба повесила уже занавес, незаметный для постороннего глаза... Я беспокоюсь о Рите – как будет ей житься, если что – то произойдет со мной. Есть страх и перед предстоящими физическими муками. Есть и желание держаться. И панический ужас, что не допишу, не составлю новые книги... Все есть. К счастью, есть и дружба, которая сразу же проявилась, есть любовь детей и надежда: а вдруг!...Завтра начнется лечение -- и что там будет, известно только Богу... Слава ему, что подарил мне 71 год интересной и активной жизни, многим и это не досталось. У меня нет зависти к тем, кто прожил намного больше. Каждому свое... Есть жалость, что столько не увидено и не сделано, так много еще хочется. И страх, что не увижу бармицтвы Элика и Дэвида, не смогу общаться с детьми и внуками...

Хочу вернуться в институтские годы.

Институт размещался в нескольких старых зданиях по улице Свердлова. Собственно, учебным было одно из них. Второе занимала военная кафедра и общежитие. Здания сохранились с довоенных времен, лаборатории были тесными и небогатыми. Потом, к четвертому курсу, было построено во дворе, рядом с

институтским стадиончиком, здание для производственных мастерских, а уже после нашего окончания на месте стадиончика появилось новое здание.

Преподаватели были разные. Были интересные, были и серые, не оставившие о себе никаких воспоминаний. Но были и сверхинтересные, осколки старого общества, даже выходцы из дворян, уже старые, но сохранившие живость ума, такт и солидные знания.

Расскажу о некоторых из них.

Профессор Александр Львович Бершадский занимал одну комнату в нашей квартире. Вообще-то он жил в Москве. Приезжал на семестр с женой Изабеллой Абрамовной или один. Живой, с пышной седой шевелюрой. Был крупным специалистом по резанию древесины, основоположником школы резания. Со студентами был добрым и приветливым, позволял пользоваться на экзаменах учебниками, понимал, что важно понимать формулы, а не зубрить их наизусть. А формулы были длиннющими.

Очень любил Риту. И меня, пожалуй, тоже. Иногда рассказывал о себе. Как крестился до революции, чтобы поступить в Петербургский Университет. О студенческих годах в начале двадцатого века и о своих учителях. О первых годах Советской власти. Избегал острых вопросов. Но было и так понятно, что прожил нелегко. Все время работал. Дверь комнаты держал открытыми, мы беспокоились, что дети шумом мешают ему, но он уверял, что шум ему помогает, и что он чувствует жизнь лучше, когда дети шумят.

Вечерами Ритины родители и Бершадские играли в карты.

Очень переживал, когда его ученики, защитив диссертации, проявляли не лучшие душевные качества, а то и откровенный антисемитизм.

Когда он перестал приезжать в Минск, уже после восьмидесяти, комнату отдали нам. Мы разговаривали иногда по телефону. Знали, что он пишет новый учебник по резанию. И очень переживали, узнав, что Александр Львович умер...

Забавной и интересной фигурой был преподаватель математики Орленко. Он был уже стар, полный, зайдя в аудиторию, садился на стул. На его стол мы уже клали заранее вопросы, большей частью связанные не с математикой. Он прочитывал их – и начинались интересные рассказы по греческой мифологии, истории России, истории его семьи, а был он родом из знатного рода. Об интегральном исчислении Орленко вспоминал в конце. Словом, успевал он нам за семестр дать таблицу интегралов, основные понятия и « формулу Орленко », о создании которой рассказывал примерно так: « В восемнадцатом году засел я в своем имении на Украине. Время тревожное. Кругом разбойники. То белые. То красные. То зеленые. Делать нечего, я изобрел формулу. Запишите ее...»

Мы записывали. На экзаменах спрашивал он не больше, чем успевал нам дать на лекциях...

Преподаватель электротехники Воейков происходил из графского рода и жил в соседнем подъезде. Его жена, уже старушка лет восьмидесяти, сидя в шляпке с вуалькой на скамейке и читала французские романы. Уже после смерти мужа она забыла русский язык и говорила на французском. Иногда я встречал ее в чужих дворах или на улице и приводил домой... Сам Воейков был очень благороден, знал предмет свой

блестяще и умел преподнести его. Мы его любили и уважали. Он платил нам тем же.

Интересно, что о происхождении и судьбе мы узнавали после двадцатого съезда во время оттепели, в хрущевские времена. До этого даже близкие скрывали от членов семьи многие подробности своей жизни – боялись друг друга. Так, я не знал, что мамин младший брат живет в Израиле, что мамыны родственники Каганские уничтожены сталинской машиной вместе с семьями (а были они старыми большевиками и занимали высокие партийные посты) и многое, многое другое. Кстати, одна из Каганских, Песя, погибла в Гомеле во время мятежа белой группы Стрекопытова и похоронена в центре Гомеля вместе с коммунарами.

У нас преподавал организацию производства красавец, холеный и видный собой, Хитрово. Он воевал в партизанах, был знающим преподавателем, и мы однажды узнали, что и он был из графской семьи... Так что узнавали мы многое, помимо институтских знаний.

Я вспоминаю преподавателя марксизма – ленинизма, был такой обязательный предмет, Короля, старого большевика, который в порыве откровения, клеймя трокцистов, с восторгом рассказал, как после революции в огромной толпе под проливным дождем с восторгом слушал выступление Троцкого – таким ярким оратором, оказывается, был Лев Давидович...

Времена менялись, и постепенно эти откровения смолкли, все вернулось на круги своя, и ничего такого о других мы не узнали. Но, повторяю, институт дал нам все необходимое для будущей работы.

Были, конечно, и скучные, забюрократизированные лекции, были самодуры – преподаватели, один из которых, зайдя на экзаменах в комнату, говорил, например, пяти вызванным студентам, такую фразу:

--Ну, так и быть, даю вам на пятерых 13 баллов..

И давал ровно 13 (или 12) баллов...Это означало, что кто-то, независимо от ответа, оставался без стипендии, а то и получал переэкзаменовку...

Меня это не коснулось – я отучился на отлично и получал повышенную стипендию, которую отдавал маме, так как жили мы трудно и надо было высчитывать каждую копейку. При этом в доме были постоянные гости, которым отдавалось иногда последнее...

На этом месте рукопись обрывается.

СОДЕРЖАНИЕ

Несколько слов к читателю	1
О жизни и творчестве	1
<i>Лампадка памяти моей</i>	8
По лунной дорожке пройти до Луны.	9
Сколько бы дожди ни лили,.....	10
ОТТЕПЕЛЬ	11
За проезд до страны назначения	12
Какого дурака сваял:.....	13
Выдувает, словно сквозняками,.....	14
Отодвинувшись от детства,	15
МОЛИТВЫ	16
Лампадка памяти моей	17
Вроде бы совсем не отличимы	18
Играя с внуком, думаю о том,	19
Никому ничего не должен.....	19
Привыкнув тихо подчиняться.....	20
КОММУНАЛКА	21
КОНЕЦ СОРОКОВЫХ	22
Когда тиран последнее злодейство	23
Повеселился вдоволь Каин,	23
Вернув былые времена,	25
Мы дележом постов, хлебов, сокровищ,	26
СКУПЕЦ	26
Вот и пришли почтенные года,.....	27
<i>На моей параллели сегодня - весна</i>	28
Оказалось, тут есть и березы,	29
Проходным двором апреля	29
Перекрашу все, что было, в голубое –	29
Расцветают не цветы—надежды.	30
Споет мне птица, что весна.....	31
Вот и настало Первое Мая... ..	32
Есть у мая одна привилегия:.....	32
Вырвавшись из ледяных застенок,	33

Жизнь пробудится.	34
ЗАРНИЦЫ.....	35
И небо, вроде, ясным было,.....	36
В колодце небо отражается,	37
НЕБО.....	37
Дождит немного.	38
На моей параллели сегодня—весна,.....	41
<i>И все-же осень свяжет не печаль...</i>	42
И все же осень свяжет не печаль.....	43
Отплясала осень ураганно,	43
НАЧАЛО ОКТЯБРЯ	44
Нальются яблоки.	45
Покружись, ветерок, под аркой,.....	46
Улетает клин журавлиный,.....	46
Ноябрь дает зиме добро:	47
На осень, что шутя заморозила нас,.....	48
В жизни осенней.....	48
НОЯБРЬ.....	49
Золото высыпал клен на кладбищенский вечер—	50
Есть цветок—“ Декабрист “ называется	51
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ	51
ЯНВАРСКАЯ НОЧЬ	52
<i>Все чаще стали сниться горы...</i>	54
Я кремнем о кремень ударю.	55
Все чаще стали сниться горы.	55
ПО ХАБОЗЕРУ	56
В какую-то счастливую минуту	57
В ГОРАХ ЗАПАДНОЙ КАНАДЫ.....	58
АРИТМИЯ.....	61
ПОВЕЗЛО.....	61
<i>Минуты любви...</i>	62
В платье простом.....	63
Сейчас мне кажется:	63
Когда расправляются крылья,	64
«Твой лунный лик»,	64
Холодный ум.....	65

НЕПОВТОРИМЫЙ МИР.....	67
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.....	68
Приподнявшись, ты потушишь свечи –.....	69
Когда стоял я у окна	70
То легенда о Джульете,	70
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР	72
ЕДИНСТВЕННОСТЬ	73
<i>И когда шафары протрубят...</i>	74
ПАРАДОКС.....	75
А когда шафары протрубят,.....	75
Переучили с левши на правшу.	76
ИЕРУСАЛИМ	77
Спустятся узники в новую Яму.	78
Мы плодили своих молодых,	79
В синагоге у стенки, где дерево жизни,.....	80
Я несу не крест, а могодovid,	83
Все так условно в мире этом.....	84
<i>Мне весело играть словами...</i>	85
Мне весело играть словами.....	86
БОГАТСТВО	87
Во мне и вне меня – потоки лет.....	87
Летание поэтов над землей,	88
Пленник многих обстоятельств,	88
Если каждую строчку писать,.....	89
Безответность пугает, когда.....	90
Словам не тесно, не просторно –.....	90
Вздremнул Пегас.	91
Написав миллиарды сценариев,	92
Правдивы все-таки поэты.....	92
В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ЛИЦЕЕ	94
К Л О У Н.....	95
А К Т Е Р.....	96
МИФЫ И СКАЗКИ.....	99
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ	101
Когда один,	101
Из кирпичиков – стихов	102

Писать разборчиво и ясно.....	104
<i>По просторам земли</i>	105
Под небом Андалу́сии,.....	106
ЗАЛ ФЛАМАНДСКИХ НАТЮРМОРТОВ	107
ЖАРА В СЕВИЛЬЕ.....	108
В Париже июль был нежарким:	110
<i>Выбор есть</i>	111
Говорят, что все – от Бога.....	112
Выбор есть.....	113
К сорока порой казалось:.....	114
Спасенный случайно от гетто,	115
Друзья ушли,.....	116
Ничего не знаю о вечности,.....	117
Ни тонкому стволу березки юной,.....	117
Есть ли я иль нет меня –	120
Что-то переменится,	120
Вторая молодость мне, вроде, ни к чему.	121
Вихри догадок.....	121
<i>Моя жизнь (неоконченные воспоминания)</i>	123
СОДЕРЖАНИЕ	206